

# ВЧЕРАШНЯЯ ВЕЧНОСТЬ

Фрагменты XX столетия

*роман (окончание)*

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### **XLII Нечистый дух. Антипатриотическая позиция романиста получает достойный отпор**

Сентябрь 1967

Скажут: дела давно минувших дней. Что произошло за эти годы? Да ничего сверхъестественного; сменился правитель, только и всего. И, однако, что-то варилось в котлах, что-то менялось в составе атмосферного воздуха. Что же именно? Полагаем, что лучше об этом справиться у историков.

Как? Разве вы не историк?

М-м... не совсем.

Оглядываясь назад, трудно поверить, что эпизод, о котором пойдёт речь, мог состояться на самом деле. Слишком уж надо было для этого оказаться наивным, что ли. Но, с другой стороны, назвался груздём – полезай в кузов. Пора, давно пора приобщиться к литературной среде. Быть может, общее потепление этих лет пробудило отвагу.

Было в самом деле тепло, время – около четырёх часов дня. Поезд остановился на пустынном полустанке, тридцать шестой километр от столицы. Только что прошёл дождь. Капли влаги переливаются голубыми, розовыми и серебряными огнями на траве. В сосновом бору чисто, свежо. Лучшего времени года не бывает, лучшего места не найдёшь во всём свете.

Путешественник миновал рошу, прошагал мимо кладбища знаменитостей, тех, кто некогда населял посёлок, свернул на дачную улицу и, наконец, поравнялся с голубеньким палисадником. Он стоит у калитки. Мохнатый чёрный зверь, выскочив из-за угла, с грозным лаем несётся навстречу. Дом был основательный, снаружи обшитый досками, с балконом, с резными наличниками на окнах. С крыльца сошла пожилая простоволосая женщина. По всему виду писателя было ясно, что он все не писатель. Он стал объяснять, что его ждут.

Дача принадлежит литературному министерству и предоставлена знаменитому критику в пожизненное пользование. Хозяина нет надобности представлять, довольно будет напомнить, что его зовут Олег Михайлович, «тот самый», известный в кругах под именем Олег Двугривенный. Он ждёт наверху. Одет в рабочую одежду – байковую куртку, подпоясанную витым шнурком, на шее платок, на ногах отороченные мехом домашние туфли. Он прост и приветлив, несмотря на громкое имя

и высокий чин. В кабинете витает тонкий аромат духов. Посетителю указано на кожаный диван, сам поместился вполоборота к рабочему столу.

Над столом в простенке между окнами, за которыми шевелится желтеющая листва, граф Лев Николаевич Толстой, каким его изобразил художник Крамской, с пером в руках, перед старинным письменным прибором трудится над народно-исторической эпопеей «Война и мир». В углу стоит столик с пишущей машинкой. Оробелый гость сидит на краешке дивана, поглядывает на полки с корешками книг.

«Ну-с», – промолвил Олег Михайлович, потирая ладони и, очевидно, собираясь приступить к разговору. Скрипнула дверь, въехал на колёсиках столик со скромным угощением. Зверь поднял морду, но передумал и улёгся снова. Пожилая тётка – экономка? тёща? мать? – уплыла из комнаты.

«Ну-с...» – и он повернулся вместе с вращающимся креслом к столу, извлёк увесистую папку из нижнего ящика письменного стола. Посетитель с трепетом следил за его движениями. Измученный бессонными ночами, он сидит в углу за крохотным столиком, на порядочном расстоянии от следователя: необходимая мера предосторожности, чтобы арестованный не напал на лейтенанта. А также для того, чтобы не видели, что он там читает. Медленное перелистывание толстого следственного дела, загадочное движение бровями, побрякивание, покачивание головой – должны произвести впечатление. Олег Михайлович перелистывает рукопись. В эту минуту становится ясно, что роман – это улика. Какая неосторожность. Подавив волнение, гость (мы с утра ничего не ели) неловко тянется за бутербродом.

«Что?.. – рассеянно, не поднимая глаз от рукописи, спрашивает хозяин, словно угадав его мысли. – Угощайтесь, прошу вас...»

«Поверите ли... – говорил он, поглаживая машинописный лист, – простите, запамятовал, как вас по батюшке... (Писатель поспешно назвал своё имя и отчество.) Поверите ли, света белого не вижу. То звонят из “Молодой гвардии”, просят юбилейную статью, то собрание партактива, семинар молодых прозаиков, творческий вечер кого-то там, надо выступить. Извольте каждый день тащиться в город. Своей работой некогда заняться».

«Сочувствую», – сказал басом Лев Толстой из дубовой рамы.

Олег Двугривенный поднял глаза на классика.

«Ему хорошо. Сидел в своей Ясной Поляне... М-да. Не примите это на свой счёт, – сказал он мягко, – это я так... Что же мне вам сказать...»

Он задумался, поднёс к подбородку переплетённые пальцы.

«Не скрою, меня увлекла ваша вещь. Мне трудно определить её, так сказать, жанровую принадлежность, на роман как-то не тянет. Скорее, автобиография?»

«Не совсем».

«Ага. Я так и подумал. Как-то слишком уж обрывисто, видно, что автор ещё не умеет как следует сколотить композицию. Но, в конце концов, русская литература всегда игнорировала строгую форму, не правда ли, всегда выламывалась из традиционных жанров... Это что такое? – строго спросил он. Пёс стучал хвостом о ковёр. – Прекратить».

«Критик, как вы понимаете, не совсем обычный читатель. Критик – это одновременно и читатель, и критик. Как бы ни показалось это тавтологией. Кушайте, не обращайтесь на меня внимания...»

Хозяин снова повернулся в кресле к гостю, положив ногу на ногу, покачивал меховой туфлей.

«Хочу вам сразу же сказать. Я готов и дальше обсудить с вами ваш, э... роман, это ведь всё-таки роман, не правда ли? Но если вы ждёте от меня содействия в смысле того, чтобы публиковаться, то, извините за откровенность, я вряд ли вам буду полезен. Ко мне обращаются молодые писатели, я всем отказываю... ну,

может быть, за немногими исключениями. Так что не ждите от меня ни рекомендательных писем, ни звонков в редакции... Но мне почему-то кажется, что вы обратились не за этим. Или, во всяком случае, не только за этим, ведь правда?»

«Конечно», — сказали из рамы.

Критик вновь покосился на портрет.

«Видите, он ответил за вас... Я позволю себе вести с вами разговор, так сказать, с двух точек зрения. Допустим, вы принесли рукопись в журнал, к примеру, в "Новый мир". Хороший журнал, как сейчас говорят — либеральный. Можно, конечно, и к ним предъявить кой-какие претензии, но не об этом речь... Как бы то ни было, напечататься там — большая честь. Так вот. Что вам ответит серьёзный, квалифицированный, съевший зубы на своём деле редактор?»

Он взглянул на писателя и прищурился. Следствие продолжалось.

«Ну, разумеется, он похвалит вас, осторожно, слегка, чтобы вы не зазнались. Скажет, что вещь нуждается в доработке, такую-то главу надо переписать, такую-то совсем, может быть, выкинуть. Ну там, усилить звучание, приблизить к современности. Может быть, даже укажет вам на неудачный выбор главного героя, литература должна заниматься не литературой, а жизнью, если писатель пишет о писателе, значит, ему нечего сказать... А в заключение... — Олег Михайлович улыбнулся, — в заключение скажет, что редакционный портфель в настоящее время переполнен!»

«То есть, — не выдержал писатель, — незачем и соваться?»

«Правильно, — проворчал Лев Толстой. — Вали отсюда, пока цел».

«Нет, конечно. Так редактор не скажет. Во всяком случае, я предполагаю, что он прочтёт вашу вещь, что, скажем прямо, бывает не часто... И не у каждого найдётся время беседовать. Но мы с вами говорим о добросовестном редакторе. Не исключаю, что он разберёт с вами, в качестве примера, какую-нибудь отдельную тему. Допустим, главы о войне. Ваш герой переживает войну ребёнком. Сами вы на фронте не были, ведь правда? А я, между прочим, воевал. Так вот, как описана у вас война? Вы ни словом не упоминаете о том, что под Москвой была одержана победа, что немцев не только остановили, но и погнали прочь. Вы только описываете панику и хаос первых месяцев. Мало того — тут уж не только редактор, я сам просто не знаю, что сказать. К вашей старухе является немец, офицер, и заявляет, что Москва сдана. Что за бред? Позвольте вас спросить».

«Не знаю. Дело в том, что... — упавшим голосом отвечал гость, — я пишу, как бы это сказать... не только о том, что было. Но и о том, что могло быть. Так сказать, альтернативная история».

«Альтернативная. Так, так... Другими словами, вы допускаете, что дело могло обернуться так, что мы вполне могли бы проиграть войну. Я вам, уважаемый, вот что скажу. Если бы мы не верили в нашу победу, не напрягли все силы, а ещё лучше сказать — если бы мы не любили нашу родину, мы бы, возможно, и проиграли. Но этого не могло быть».

«Ну, хорошо, — вздохнув, продолжал Олег Двугривенный, — предположим, вы согласитесь эту главу выкинуть. А дальше? Ваш герой арестован, осуждён, попадает в лагерь. Спору нет, это страница нашего прошлого, трудная, мучительная страница. Но лагерная тема вас буквально поработила. Эти бесконечные возвращения. Выходит, что лагерь — это чуть ли не самое главное. Не только в вашей жизни — в жизни нашего народа. Ведь именно так у вас получается, разве я не прав?»

«Не знаю».

«Вот так здорово; а кто же знает?.. Как будто ничего другого, ничего положительного, реального в эти годы не было. Против такого подхода и я бы, знаете ли, решительно возразил. Да и ничего нового вы не можете сказать, всё давно сказано».

Он смотрел пристально на арестанта. Гость торопливо дожёвывал бутерброд, ронял крошки. Лев Толстой негодуяще тряс бородой.

«Мне кажется, я понимаю; что ж, сердцу не прикажешь! Мне кажется, вы просто не любите Россию».

Писатель тупо взирал на Олега Михайловича, повесил голову и неожиданно пробормотал:

«Тебя хвалить я не умею и крест свой бережно несу».

«Я тоже когда-то любил Блока, – возразил критик. – Да... И ещё одно. В вашем романе имеются интимные сцены. Конечно, литература имеет право коснуться разных сторон человеческой жизни, в том числе и закулисных. Но, помилуйте, разве так можно! Описывается новогодний бал. Я уж не говорю о том, что ваши комсомольские руководители, все до одного, выглядят какими-то чудовищами... Но что можно сказать об этой сцене, где этот, простите, забыл, как его имя... ну, не суть важно, где он насилует горничную, которая на самом деле не горничная, а проститутка и наркоманка, и всё это совершается на глазах у героя...»

Удручённое молчание.

«Мы несколько отвлеклись. Повторяю: всё это вам скажет редактор, если, конечно, найдёт время беседовать, но мы говорим о хорошем, терпеливом редакторе, с большим опытом, с тонким вкусом... А теперь скажу я. Скажу вам то, о чём редактор, возможно, просто умолчит. И что меня – лично меня! – просто-таки ошеломило».

Критик снова умолк, смотрел в окно.

«Н-да... – проговорил он, словно очнувшись, – где же это место... – Он листал рукопись. – Та-та-та... Тирим, тим-тим...»

Перевернул страницу, вернулся к предыдущей.

«Вот послушайте».

«К подследственному он относился неплохо, не бил, не сажал в карцер, говорил ему “ты”, иногда болтал от скуки, развалившись на диване, если дело происходило в главном кабинете, вероятно, одном из тех, что выходили прямо на площадь с памятником Рыцарю революции, там были дубовые панели, ковёр и особенные часы, нарисованные на стене, без цифр, как-то раз он включил радио, передавали музыку из оперетты “Табачный капитан”. Следователь был человек вполне ничтожный, тёмный и малограмотный, но какой-то ярко выраженный; когда он говорил, никогда нельзя было понять, лжёт он или говорит правду; чаще он всё же лгал, потому что одна из задач его работы состояла в том, чтобы путать и сбивать с толку, и держать обвиняемого в постоянном неведении относительно чего бы то ни было, но лгал он также без всякой нужды, по привычке или ради удовольствия. Следователь был воплощением Зла, но какого-то слишком уж приземлённого зла; был очень русским человеком, с открытым и довольно приятным лицом, с простоватым и одновременно хитрым взглядом и этой способностью неожиданно переходить от суровой официальности к балагурству и амикошонству. О нём невозможно было сказать, дурак он или себе на уме, навеселе или трезв, он был и прост, и непрост, в нём была необычайная скользкость; иногда он напоминал сумасшедшего. Что-то соображал, любил подмигивать, вдруг мог ляпнуть какую-нибудь гадость. Любил такие словечки, как мура, лады, чин-чинарём, замнём для ясности, себя называл с ироническим самодовольством: мы, разведка, и, само собой, без усталости матерился».

«Что скажете?» – осведомился Олег Двугривенный.

«Ничего, – сказал писатель. – Похоже на правду. Они все были такими».

«Здесь чёрным по белому стоит: очень русский человек. Все они такие. Н-да. Но это ещё цветочки...»

«На что пригодилась мне моя жизнь? На то, чтобы разобраться в потайных механизмах общественной жизни – отколупнуть крышку часов и увидеть, как поворачи-

чиваются колёсики, от которых зависит движение стрелок? И разгадать смысл российского мифа, эту сказку о добром, прямодушном, наивном и бесхитростном народе?»

«Я это место выкинул».

«Позвольте, у меня в руках ваша рукопись».

«Я... в окончательную редакцию это не войдёт... – лепетал гость. – Там, очевидно, слишком много рассуждений. И, кроме того, это говорится от имени героя, а не автора. Говорится под настроение...»

«Разумеется, разумеется... Но вы всё-таки послушайте...»

«Никто, о Боже, – читал Олег Двугривенный, – не представляет себе, каким странным и страшным существом может быть русский простонародный человек, – разве лишь тот, кто прожил жизнь в нашей стране, трясся по её дорогам и пробирался вдоль поломанных заборов, мимо покосившихся изб, где живут на четвереньках, ходят на четвереньках и с порога, стоя на четвереньках, кланяются начальству. В стране, где ежедневно бездарность и тупость ведет прицельный огонь по всему смелому и человеческому. Где каждые тридцать лет нация хором совершает обряд самооскопления, так что поневоле изумишься, откуда всё ещё продолжает рождаться это живое и человеческое...»

«Надо знать его, этого человека, – читал он, – жить с ним на одной земле, чтобы видеть, как он фантастически силён и вынослив, ибо за много веков сумел вытравить в себе уязвимое, хрупкое. *На хуя мне!* – так прямо и написано».

Он продолжал:

«Надо знать его... те-те-те... И дальше. Тут не распушенность только, как расстёгнутая ширинка: в этом лозунге всё мировоззрение, вся жизненная философия русского человека, не желающего ничего для себя, но зато и никого не щадящего; здесь вся бездна презрения ко всяческой утончённости, физической слабости, духовной жизни, к вере в добро, словом, презрение к культуре, на этом презрении зиждется у него всё. Вечно нетрезвый или одержимый мечтой о выпивке, он готов помыкать всяким, у котором он подозревает, что у того есть тайная слабинка, заветная святыня, – у него же заветного нет. Всё – *хуйня...*»

«Ну, знаете... Право же, не понимаю! К чему эти нецензурные выражения?»

«...всё – пустые слова: верность, любовь, привязанность, этот человек пойдёт и предаст брата, изобьёт до полусмерти жену, отшвырнёт сапогом собаку, бросит детей на произвол судьбы – и всё это ради чего? За бутылку, из гонора, а ещё больше ради того, чтобы насмеяться над самим собой, ведь для него нет большей сладости, как унижить себя, поиздеваться над собой и заодно над всем светом. Раб в душе, он считает себя выше других народов, потому что знает: никто не дойдёт до последней точки, а он дойдёт; никто в последнюю минуту не окажется так страшно свободен, как этот раб, ни в ком абсурд не победит окончательно. А он, на крайности, в порыве безумного вдохновения пойдёт на всё: жестокая российская жизнь именно так и устроена, что доводит его до этой крайности; изрыгая чудовищный мат, он сожжёт себя или раздерёт грудь в сумасшедшем восторге, хоть стреляя в него, – во имя абсурда. Потому что абсурд – это и есть его бог».

«Это что, – спросил критик, – разве это роман? Это трактат какой-то. А вернее, пасквиль!».

«Хотите почувствовать в полной мере русскую жизнь? – нырните в неё со всего размаху, чтобы стукнуться головой о дно. Сказано в Евангелии: “Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, не находя покоя. Тогда говорит: возвращусь в дом мой. И, придя, находит его незанятым. Тогда берёт с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого“. Вот когда вам захочется удавиться у постели несчастного бесноватого, вот тогда вы и узнаете, что собственно значит быть исцелителем».

Олег Михайлович тяжело вздохнул.

«Отношение к войне, как вы говорите, альтернативная история, то да се... ладно, это ваше дело. Но вот это!» – он швырнул папку на стол.

«Я собираюсь кое-что переделать...»

«Попрошу меня не перебивать. Вы, любезнейший, ненавидите Россию, вот что я вам скажу. То, что вы здесь пишете, это... это...»

Не окончив фразу, Олег Михайлович взглянул на часы и устремил взгляд в пространство.

Какого лешего, думал он, я трачу время с этой сволочью.

«Скажите... – снова заговорил он, – это так, между прочим... Кто-нибудь знает о вашем визите ко мне?»

Писатель смотрел в пол.

«Так вот: мой вам совет».

Критик аккуратно выровнял стопку машинописных листков, закрыл папку, завязал верёвочки. Вручил посетителю.

«Засуньте её куда-нибудь подальше».

«Куда?» – спросил писатель.

«Куда-нибудь. И никому не показывайте. Если ещё не успели кому-нибудь показать... Ваш роман абсолютно непроходим. И даже ещё хуже».

«Можно многое простить, – продолжал он. – Даже критику системы. Но клевету на русский народ, которому выпали на долю такие бедствия... Да что там говорить».

«Как я понимаю, мне надо бросить литературу».

«Бросить? Я этого не говорил. Но, конечно, такую литературу... Как вы этого не понимаете?»

Тщетно ждать ответа от подсудимого, да и какой может быть ответ. Из портретной рамы слышится бормотанье, глубокий вздох.

«Ах вот оно что, – сказал Олег Двугривенный. – Вы в самом деле думаете, что это выход?»

Впрочем, чему же тут удивляться, подумал он.

«Не знаю. Я, собственно, об этом не думал».

«Вы, кажется, сидели? Да, похоже», – ответил хозяин как бы самому себе и снова взглянул на часы.

Пора было сматываться.

«Появился тамиздат. Я говорю о заграничных изданиях... Появился и самиздат. Рискованное дело, что и говорить, но некоторых соблазняет. Чаще всего это совершенно бездарные люди... А кончается тем, что подают на выезд. Вы, кстати, прошу прощения... еврей? С одной стороны, это не так просто, вы правы. А с другой стороны, времена меняются... Прекратить! А ну пошёл отсюда вон».

Оба, писатель и пёс, смотрели на хозяина. Мохнатый зверь встал и поплёлся к дверям. Олег Двугривенный смотрел ему вслед.

«Я могу вам определённо сказать, что это не выход. Конечно, при вашем отношении к родине...»

Гость осмелился прервать его: «Вы что, действительно думаете, что я отношусь...?»

«Да ничего я не думаю, – сказал с досадой Олег Двугривенный. – Просто я хочу сказать, что никому мы там не нужны. Нашему брату там нечего делать... А главное, русский писатель не имеет права бежать под предлогом того, что его зажимают, не дают печататься, то да сё. Талант – настоящий талант! – всегда пробьёт себе дорогу. Каждому сбудется по вере его, как говорил Михаил Булгаков, слышали про такого писателя?»

«Да, – продолжал человек в кресле, – чего уж тут греха таить, есть у нас бюрократы, околотитературные чиновники, которые считают себя вправе распоряжаться

литературой. Порой приходится идти на уступки... Таковы правила игры, ничего не поделаешь. Вы думаете, мне легко печататься? Но я убеждён, что достойней остаться со своим читателем, пусть даже ценой каких-то потерь, чем, знаете ли, идти на поклон, искать лёгкой жизни, да и какая там жизнь... Мне доводилось бывать за границей. Мы там никому не нужны... Здесь наша родина, дорогой мой. Наш язык, наши могилы... Одним словом, я хочу сказать, что долг русского патриота нести факел здесь, а не где-то там, где нас не знают и не понимают. А с властью, знаете ли, всегда можно договориться».

Дивный воздух, в сосновом бору сухо, чисто, свежо. И, право же, лучшего времени года не бывает, лучшего места на земле на найдёшь.

### **XLIII Время идёт всё быстрее, предваряя развязку**

22 февраля 1977

Две ночи, на Западе и на Востоке, встают одна другой навстречу. Всё тонет, всё забывается.

Некогда в переулке у Красных Ворот стоял угловой дом, в комнате, смотревшей во двор, на первом этаже, проживала бывшая дворянка, недобитая белогвардейская штучка, о которой рассказывали разное; потом туда вселилась её родственница, и о ней тоже говорили, после того, как она исчезла, что она будто бы выскочила замуж за крупного осетра, будто бы получила срок по какому-то тёмному делу; говорили о наркотиках, говорили о подпольном публичном доме для высококого начальства; кто-то вроде бы видел Валю перед «Метрополем», где прохаживаются девы горизонтальной профессии, – постаревшую, густо накрашенную. Всё шатко, всё сомнительно было в этой квартире; появлялись и пропадали люди, чьи имена забыты и о которых теперь даже трудно сказать, действительно ли они жили на свете.

Fugaces labuntur anni!<sup>1</sup>.

Пришли новые люди, для которых прошлого не существовало, хотя сами они отличались немногим от тех, исчезнувших; настали другие времена, которые, впрочем, оказались в некотором смысле прежними временами. Всё изменилось, квартира не изменилась. Когда после долгого отсутствия и разного рода бюрократических приключений составитель этой хроники вновь водворился в длинной, как пенал, комнате родителей, из которой прежние постояльцы унесли почти всю мебель, – в коридоре по-прежнему горела тусклая лампочка, стоял сундук с всяким замком, вращался диск в окошке электрического счётчика фирмы Сименс-Шуккерт, с твёрдыми знаками. Призрак слонялся по ночам, шумела вода в уборной, покойная баронесса следила, всё ли на месте, искала свои наставления, давно истлевшие, как и она сама.

И всё же нельзя сказать, чтобы всё успокоилось. В одну из таких ночей, точнее, тёмным ночным утром, накануне Дня Советской армии, в коридоре задребезжал звонок, один раз, и ещё, и всё настойчивей. Писатель в халате и шлёпанцах вышел из комнаты. Кто там, спросил он, и голос за дверью ответил: «Телеграмма». Он спросил, кому телеграмма, была названа его фамилия; он ещё не вполне проснулся, чем и объяснялось притупление бдительности. Едва только, сняв цепочку, он успел приоткрыть парадную дверь, как кто-то с силой толкнул её, с площадки выскочили из тёмных углов мужики, их было семеро, и впёрлись в коридор, натыкаясь в полутьме на сундук, хранивший квартиру от несчастий. В комнате писателя

<sup>1</sup> Уносятся быстротечные годы! (Гораций).

стало тесно, зажгли свет. Это были «понятые» – слово неизвестного происхождения и неясного значения; среди гостей он разглядел и оправдома.

Для начала было предложено сдать оружие.

«Перочинный нож?»

Командир усмехнулся, показывая, что он ценит юмор.

«Между прочим, – заметил писатель, – я реабилитирован».

«Это мы знаем».

«Могу предъявить справку облсуда».

«Незачем», – возразил человек со служебной физиономией без особых примет, который вдобавок никак не представился. Романтика былых времён выветрилась, рыцари с льдыстыми глазами, в долгополых шинелях, вымерли, не стало больше фуражек с голубым околышем, портупея, петлицы, щит и меч на рукаве гимнастёрки, скрипучие сапоги – всё ушло в прошлое. Человек был в штатском, при галстукке и с университетским ромбом на лацкане пиджака.

«Всё знаем», – уточнил он, пряча в карман ордер на проведение обыска. Зачем же тогда, возразил писатель, коли и так всё известно. Что известно? – спросил следователь. То, что знаете, сказал писатель. А это мы сейчас подтвердим, сказал следователь, компания кое-как разместилась, кто опустился на неубранную койку, кто пристроился к столу, на котором стоял множительный аппарат, в просторечии – пишущая машинка, а кто и просто сидел на полу. Следователь стоял перед грубо сколоченными стеллажами, брал одну за другой книжки и ронял на пол.

«Всё по закону, – говорил следователь, листая и бросая книжки, – это вам не прежние времена».

«Закон?» – переспросил писатель. Что такое закон? – хотел он задать вопрос, подобный вопросу римского прокуратора. Но как Пилату не дано было знать, что есть истина, так и тебя не удостоили бы ответом. Следователь разглядывал иностранную книгу в переплёте со стёршейся позолотой.

«Пруст, – уныло сказал хозяин. – Французский писатель. Он давно умер».

«Кто такой Пруст, мы знаем, – возразил человек, окончивший юридический факультет, – откуда это у вас?» – и, не дожидаясь ответа, сунул книгу в служебный портфель.

Ворох исписанных бумаг был сыпан туда же, следователь озирал жильё, голизна которого облегчила его задачу. Понятые покашливали, как публика на скучном спектакле. В коридоре прокрались, тактично прошлёпали шаги – квартира уже не спала.

Следователь показал пальцем на шкаф, единственное родительское наследство. Хозяин покачал головой. Ключ, сказал следователь. Потерялся, ответил писатель. Ну что ж, промолвил следователь, извлёк из портфеля отвёртку, и после некоторых усилий створки распахнулись. Там висели на плечиках старые платья матери, пиджак довоенных времён, внизу, на фанерном дне стояла швейная машина. Повозившись с отвёрткой, следователь поднял крышку футляра.

«Ага, – сказал он, поднимаясь с колен, – вот это другое дело», – и помахал в воздухе добычей. Писатель пожал плечами. «Ай-яй-яй!» – укоризненно сказал оправдом, а следователь, ликуя, сорвался с места и пустился в пляс. Теперь, наконец-то, на нём были, вместо скучных штатских брюк, синие крылатые штаны, мундир с золотыми погонями, и на рукаве блестел золотой меч государственной безопасности! Он притопывал глянцевыми сапогами, хлопал себя по груди, по бёдрам, раскинув руки, пошёл павой, выкидывая ноги, пошёл вприсядку, понятые били в ладоши, а писатель, играя бровями, притопывал и брэнчал на откуда-то взявшейся гитаре. В дверь заглядывали ухмыляющиеся лица. Следователь, не переставая выкидывать коленца, подъехал к хозяину, манил к себе, подбадривал, писатель приосанился, сунул кому-то гитару, щёлкнул пальцами, хлопнул в ладоши

и пошёл, помахая полами халата, шлёпая тапочками, навстречу следователю. Й-эх! Эх!

«Нет уж, – сказал следователь, усевшись за стол, и отщёлкнул портфель, чтобы достать бланк протокола, – объясняться будете в другом месте».

«Я не понимаю».

«Вот там и поймёте».

«Да в ней ничего такого нет», – говорил писатель, показывая на книжку в бумажном переплёте, извлечённую из швейной машины и теперь лежавшую перед исполнителем закона.

«А где издана? – парировал следователь. – Не прикидывайтесь дурачком. Кто автор, не вы ли?»

«Ай-яй-яй», – повторил управдом.

«Понятия не имею, кто это такой», – убеждённо сказал писатель.

«Откуда же она у вас?»

«Подумать только!» – сказал управдом, собачьими глазами глядя на следователя.

Писатель не пожелал подписывать протокол, несмотря на неопровержимость улик. Пишущая машинка была уложена в чёрный холщовый мешок вместе со всеми бумагами; что касается главной улики, то она была бережно упрятана в портфель, где уже покоился Пруст. В заключение была вручена повестка. Жильцы сидели в своих норах. Хлопнула парадная дверь. Робко выглянуло из-за крыш золотушное солнышко. Команда вышла в переулок. Управдом отправился по своим делам, свита понятых разошлась. Следователь положил портфель и мешок на заднее сиденье, уселся рядом с шофёром, заурчал мотор, внутренности изрыгнули дым, экипаж покотился по Козловскому к Чистым Прудам и далее вдоль трамвайного пути, повернул на улицу Кирова, к площади имени Рыцаря революции, лишний раз подтвердив пословицу о том, что все пути ведут в Рим.

Оставшись один посреди разорённой комнаты, писатель погрузился в думу. Нужно сознаться, ночное вторжение застало его врасплох. Разумеется, непонимание, зачем понадобилось представителю власти умыкнуть книжку с псевдонимом на обложке, все эти голубые глаза, были чистым лицемерием, другое дело, содержится ли там что-нибудь «анти». Что-нибудь такое – масляные глаза следователя – противозаконное. Что такое закон? Закон есть совокупность инструкций, по которым надлежит творить беззаконие. Но беззаконие – слово, которое в русском языке означает закон. Ах, не всё ли равно.

Был или не был злополучный роман вредным, антинародным, клеветническим, подрывным – какая разница? Нелегальный писатель по определению не является писателем. Литература без разрешения – это, простите, уже не литература, это преступление, незачем даже заглядывать в книжку, изданную «там», достаточно одного этого факта, и теперь наша задача – выяснить, какими путями роман попал за границу.

А вот этого вы никогда не узнаете. Писатель злобно усмехается.

Но что это за время, когда темой литературы становится вся эта чушь, эта призрачная деятельность: обыски, допросы, протоколы, копошение мух в паутине. Вместо того чтобы писать о подлинной жизни – о жизни души. О человеческом уделе, о любви и смерти.

Он думает о том, что через каких-нибудь десять, пятнадцать лет от него, от всей этой словесности, которую кто-то уже успел назвать Литературой Нравственного Сопротивления, не останется и следа.

Останется ли вообще кто-нибудь – что-нибудь – от нашего времени?

Однако злорадная ухмылка, в которой не мог отказать себе автор этой хроники, означала и кое-что другое. Он подходит к раскрытому шкафу: старые платья матери, отцовский пиджак. Смотрите-ка, им в голову не пришло! Ведь искать можно только то, что спрятано. А тут достаточно было сунуть руку в карман пиджака и вытащить.

*Дорогой сын, ты будешь удивлён.*

Да, время как-то уж очень замедлилось в этой квартире, ленивый русский Бог, похожий на деревенского священника, зевая, слез с полатей, зашлёпал босыми ступнями по своей избе и подтянул гирьки ходиков. Маятник встрепенулся, часы пошли чуть быстрее.

#### **XLIV Призрак или не призрак – это как посмотреть**

Тот же день, канун праздника Вооружённых сил

Не так-то просто было отыскать свой состав в суматохе и толчее, под гром победной музыки. В толпе они потеряли друг друга, наконец, он увидел маму, она стояла перед пульмановским вагоном с рюкзаком за плечами, с чемоданом и швейной машиной у ног, искала глазами подростка, всю ночь собирали вещи, распаковывали и снова упаковывали, разрешалось брать 25 килограммов на человека, но она непременно хотела взять с собой и то, и это, и, конечно, машину. Всё на свете пережила швейная машина, и войну, и мать, и теперь стояла, раскуроченная, в шкафу. Мальчик протиснулся к вагону, загремела и поехала в сторону широкая раздвижная дверь, открыв широкий просвет, и началась сумасшедшая посадка: кто по приставной лесенке, кого просто подтягивают, втаскивают внутрь чьи-то руки. Справа и слева помост из неоструганных досок, но когда удалось, наконец, взобраться, нары были уже заняты, люди сидели на полу, посередине громоздился скарб.

Они выглядывали из вагона, искали в толпе и почти уже потеряли надежду, как вдруг он появился, он успел прийти в последнюю минуту, в последний раз подросток видит отца. Гремят над вокзалом, перекрывая многоголосый говор, репродукторы. *Вставай, страна огромная...* Где-то там армия отбивается и отступает, и красноармейцы толпами сдаются в плен, никто об этом не знает, ничего толком не разобрать, и вдруг оказалось, что моторизованное полчище уже приблизилось к Смоленску, катится, как океанский вал, к Москве.

Протяжный свисток, вагон дёрнулся, гром столкнувшихся буферов прокатился по составу. Отец медленно отъезжает, машет рукой.

*Дорогой сын...*

Внезапно, как колокол, квартирный колокольчик. Один звонок. Столько-то раз положено звонить каждому из жильцов, один звонок – общий.

*Я и сам не перестаю удивляться всему, что произошло. Долго сомневался, имею ли я право подвергать тебя риску, напоминая о себе.*

Тишина, в коридоре никакого движения. Никто не выходит открывать. Квартиросъёмщики напрягают слух в своих норах. Не вылезают, понимают, кто там. Особый приём расследования: дать подозреваемому передохнуть, дать ему почувствовать себя в безопасности – и вдруг вернуться! А тот тем временем извлёк найденную улику из тайника. Следователь вспомнил, что забыл пошарить в карманах пиджака. Подсказал инстинкт ищейки, что не всё ещё нашли. Подследственный замечает следы. Писатель мечется по комнате, ища куда бы засунуть письмо. Книжка – дело второстепенное, а вот письмо – это уже посерьёзнее. Возможно, они подозревали о существовании письма; не исключено, что кто-то узнал, донёс, какие-то сведения просочились; удобнейший момент застать на месте преступления. Пришли не за чем-нибудь – за письмом. Пришли не только за письмом. Пришли за ним. Тёмная, с непрозрачными стёклами машина ждёт у подъезда.

Вот теперь тебя по-настоящему охватил страх.

О чём речь? В конце концов, если уж на то пошло, и письмо – не причина, а повод. Тот, кто однажды хлебал лагерную баланду, будет жрать её снова. Да,

снова и, может быть, в самом близком будущем. Для того, кто там побывал, срок не кончен. Срок никогда не закончится. Кончилась только оттепель – сколько их было, и сколько их будет. Маятник качнулся влево, качнётся вправо. Пора назад. Ну-ка выкладывай свой паспорт, он тебе больше не нужен. Пора *домой*. Место на нарах найдётся, пайка – за тобой. Ибо лагерь – это и есть наш дом, наше подлинное отечество, и ты, вольноотпущенник, неужто до сих пор не сообразил: этот трепет, это ожидание, когда за тобой придут снова, на самом деле – не что иное, как тоска по лагерю, по тройному ряду колючей проволоки, по вышкам и прожекторам, по нарам, по крысиному бегу на рассвете между шпалами узкоколейки, по звёздным ночам и Ковшу над тайгой.

И, словно зачарованный, онемев, он видит, как медленно отворяется дверь и глубокий старик стоит на пороге. Очевидно, соседи впустили в квартиру, если только он сам каким-то образом не отомкнул парадную дверь и прошёл, незамеченный, по коридору.

«Т-сс!» – прошептал гость, быстро оглянулся и притворил за собой дверь комнаты родителей.

«Ты... – пролепетал писатель, – у тебя свой ключ?»

«Какой ключ?»

«Как ты открыл дверь?»

«Как – дёрнул за ручку и вошёл».

«Нет, как тебе удалось войти в квартиру?»

«Вот так и удалось. Ты удивись... я сам не устаю удивляться».

Вошедший растерянно озирался и вместо старых, верных вещей видел разбросанные по полу книжки, растерзанный шкаф, вместо кровати алюминиевую койку-раскладушку со скомканным одеялом, вместо люстры свисающий с потолка провод с голой лампочкой, видел всё это безобразие.

Покончив с осмотром, он вперился в углы потолка, в остатки лепнины, искал что-то, хлопнул в ладоши раз-другой.

«Клопов нету?» – спросил он.

«Клопов?»

«Ну да... Комната не прослушивается?»

И ещё раз ударил в ладоши, но ожидаемого эха не последовало.

«Что же ты стоишь?» – спросил сын.

Отец направился к столу, снова поднял глаза к потолку, где всё ещё висела перекладина для занавеса, некогда делившего комнату пополам.

«Понимаешь, – лепетал писатель, – у меня был обыск, не обращай внимания...»

«Обыск, ага. Наверно, из-за меня?»

«Почему же... не думаю. Кто же мог знать?»

«Узнали, наверное, – вяло возразил отец. Он сидел боком к столу на табуретке, сын опустился на койку. – Ну, если были, значит, не придут».

«Я-то был уверен, что это они снова».

«Был уверен. Уг-м».

«Это такой метод, – объяснил сын, – вроде бы ушли, и вдруг шашть – вернулись!»

Гость смотрел в окно. Напротив, наискосок от дома – особняк чехословацкого посольства, сад за глухой каменной стеной. Короткий Боярский переулок ведёт к Садовому кольцу. Сумрачный полуживой день.

«Искали, искали, самого главного не нашли».

«Письмо, что ли?» – спросил отец, по-прежнему не отрывая глаз от окна.

Писатель потёр лоб.

«Надо бы всё-таки, – пробормотал он, – разобраться».

«Разобраться, в чём?»

«Да во всём этом...»

«Не ломай себе голову, – сказал отец, – ничего тут не поймёшь. А уж с этой сволочью и подавно не разберёшься. – Он добавил: – Я думаю, они и сами толком не знают, чего хотят».

«А я уж было решил, что они вернулись... это у них такой приём, сделать вид, что ушли... Ладно, – сказал писатель, – хрен с ними».

«Полностью разделяю твоё мнение. Насрать на них».

«Письмо было для меня полной неожиданностью».

«Я с оказией послал. Долго сомневался, стоит ли мне вообще напоминать о себе...»

«Выходит, ты остался в живых. Сколько лет прошло. Почему от тебя так долго не было вестей?»

«Почему... Сам должен понимать, не маленький».

«Мама умерла».

«Знаю, знаю...»

«Значит, ты всё-таки жив».

«До некоторой степени».

«Как же ты смог вернуться?»

«Сюда? Вот так и вернулся. Долго объяснять».

«Надолго?»

Отец покачал головой. Он был сед, в нищенском одеянии, с длинной неопрятной бородой, но теперь уже не казался таким старым.

«Времени мало. Надо мотать отсюда, а то заметят. Если уже не просекли, это у них просто делается...»

Не совсем понятно, кого он имеет виду, «их» или соседей. Или всех вместе, то есть что соседям поручено следить? Это было бы наиболее логичным. Он показал глазами на дверь. Писатель вскочил, подкрался и толкнул дверь. Никого в коридоре не оказалось. Ни звука на кухне. Тоже, конечно, подозрительный знак.

«Та-ак, – опускаясь на раскладушку, проговорил писатель. – Что ж... Возможен и такой вариант».

Гость не понял.

«Я говорю, возможен и такой поворот, – сказал сын, – я имею в виду роман».

«Какой же может быть поворот. Книжка твоя напечатана. Я, по правде сказать, не сразу догадался; это что, псевдоним? Или, может, это не ты?»

«Я, – сокрушённо сказал писатель. – А может, и не я. То есть я, конечно, – поправился он. – А насчёт сюжета... Переделать никогда не поздно. Я и так всё время то вычёркиваю, то добавляю... Представь себе, эти крысы стащили у меня все бумаги. И машинку унесли... И ещё неизвестно, что за этим последует».

«Что последует – известно что. Мало тебя учили».

Сын развёл руками, как будто хотел сказать: горбатого могила исправит.

«Но расскажи хотя бы, что с тобой случилось, ведь считается, что ополчение погибло... разве только очень немногие...»

Отец усмехнулся.

«Вот я и есть эти немногие. Тебя это действительно интересует?»

«Интересует».

«А по-моему, ты каким был, таким и остался!»

«Каким?»

«Чужим. Ты никогда меня не любил».

«Как и ты меня».

«Я?» – удивился гость.

«Конечно. И ты, и мама – вы оба меня не любили».

«Почему ты так думаешь?»

Сын пожал плечами.

Помолчали; должно быть, отец угадал мысли сына.

«А кстати, – проговорил он, – эта дворянка, что с ней стало?»

«Умерла».

«А, ну да, конечно...»

Снова пауза.

«Между прочим, – сказал отец, – у тебя могла бы быть сестричка».

«Сестричка?»

«Мама была беременна».

«Вот как».

«После аборта долго болела, ты этого, конечно, не помнишь... А может, и к лучшему, что не родила».

«Да, – сказал сын. – К лучшему».

Пауза.

«Где она лежит? Всё равно не смогу её повидать. Ты-то хоть у неё бываешь?»

Сын пробормотал:

«Нет, я ужасно тебе рад... Просто не могу опомниться от такой неожиданности...»

Но всё-таки. Как тебе удалось?»

«Вот так и удалось. Я же тебе написал».

«Там слишком кратко!» – простонал писатель.

Сумрачный день, солнце, едва блеснув, заволокло серой ватой.

#### **XLV Или всё-таки реальное лицо?**

Тот же день, продолжение

«Я поставлю чай».

«Никаких чаёв! Как произошло... Вот так и произошло, хочешь верь, хочешь нет. Ты хоть, когда война началась, помнишь?»

«Конечно, помню, – сказал писатель. – Очень даже хорошо помню этот день».

«Речь этого мудака помнишь?»

«Речь Молотова? А как же. Вот на этом месте стоял буфет».

«Верно».

«На нём стоял рупор, чёрный, из картона. Мы с мамой слушали».

«А потом, первые недели?..» Гость вздохнул, махнул рукой, не дождавись ответа, как будто хотел сказать: может, и помнишь, да ничего не знаешь.

«Все записывались, – сказал он, – я тоже. Конечно, если серьёзно, какие это были добровольцы? У нас вообще ничего добровольно не делается. Некоторых так даже просто хватили на улице, приказ – в ополчение, и точка; попробуй откажись. Но я тебе так скажу, настроение было – не у всех, конечно, у многих, – настроение такое, что надо! Немец наступает. Надо любой ценой остановить. Ты ведь не помнишь, что было перед войной».

«Почему же, прекрасно помню».

«Что ты можешь помнить... У тебя в этой книжке столько наворочено, но ведь это же всё из пальца высосано!»

«Ты разве читал?»

«Читал, а как же».

«Где же ты её увидел?»

«Там, где ж ещё. Увидел и купил».

«Откуда ты знал, что это я?»

Отец усмехнулся.

«Я теперь всё переписал заново, – сказал писатель. – Но они у меня всё отняли. А вообще-то не всё высосано».

«Ладно, не обижайся. Что я хотел сказать... Перед войной. Ведь что говорилось. От тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее. Малой кровью, могучим ударом. Ни одной пяди своей земли! Ведь это годами, изо дня в день, с утра до вечера. Пели и гремели. Надо готовиться к войне, надо подтянуть кушаки. Опять же эти парады. Думали: да, надо потерпеть, зато у нас самая сильная армия, в два счёта справимся с любым врагом. Эти песни... – Бородатый гость сморщился, схватился за голову, словно от боли. – Полетит самолёт, застрочит пулемёт. И помчатся лихие тачанки! Это они собирались на тачанках с немцами воевать. Не скосить нас саблей острой... Кто это в наше время воюет с саблей? Будённый со всей своей кавалерией обосрался. Гуталин вообще куда-то слинял».

«Лихо выражаешься, – заметил писатель. – Где это ты научился?»

«Научись... Короче, что хочу сказать: настроение было такое, что –хватит. Теперь не до упрёков, что было, то было и быльём поросло. Тридцать седьмой год, раскулачивание, всё надо забыть. Не до этого теперь. Так что, с одной стороны, за всеми следят, кто что сказал, кто не верит в нашу победу, увиливает, кто ещё не записался добровольцем. А с другой – всем ясно: надо, и ничего не поделаешь. Митинг, тут же и райкомовские деятели, и эти, конечно, фуражки с голубым околышем, только оставили свои фуражки дома. В общем, по одной только Москве чуть не двести тысяч подали заявление. Может, и больше... Прямо с митинга – на пункт формирования районной дивизии нашего Куйбышевского района. Три часа на сборы; еле-еле успел прибежать к вам на вокзал попрощаться. Кавардак был невероятный. Немец рвётся к Москве, может, уже совсем близко, никто толком не знает, сводки – сплошное враньё, все только догадываются, да что там догадываются – знают, а заикнуться никто не смеет: паникёр – и под трибунал. Засиделся я, пора идти», – сказал отец.

«Побудь ещё немного».

«Взгляни-ка ещё разок, на всякий случай».

Писатель вышел в коридор, выглянул на лестничную площадку.

«Никого», – сказал он, возвращаясь.

«Я о тебе беспокоюсь. Со мной-то они что могут сделать, – ничего».

«Ты так думаешь?»

«Чего тут думать. Меня ведь всё равно что нет. – Пауза. – Да, так вот... Войско – смех один: кто в чём. В пиджачках, в штиблетах, в летних туфлях белых, как тогда носили, их надо было чистить зубным порошком. Сперва отправили на рытьё окопов. Где-то уж не помню, где; под Рузой, что ли. Никакого обучения, вместо оружия лопаты. Через неделю выдали обмундирование. Что такое бе-у, знаешь?»

«Бывшее в употреблении».

«Так точно, тебя учить не надо. Сапог вообще не выдали. Ещё через неделю пришла партия винтовок, мосинских, образца девяносто первого дробь тридцатого года. Это же смех! Начали учить устав. Зачем учить устав, если никто почти что за всю жизнь ни одного выстрела не сделал? Хорошо ещё, что оставалось несколько дней до отправки на фронт. В общем, худо-бедно научили разбирать оружие, заряжать, стрелять по мишеням. Так что мы, например, смогли даже отразить первую атаку противника, сумели организованно отступить...»

«Я, наверно, многое путаю, – сказал отец, – давно было дело... К чему это я всё говорю? Дивизию прикомандировали к 32-й армии. На дворе осень, октябрь, ночи холодные. А мы в лёгких шинелишках. Да и немцы тоже. Думали к сентябрю вообще всё кончить... Это на наших-то дорогах... Споткнулись, реорганизовались – и снова наступление. Это я уже потом узнал, два танковых клина врезались с двух сторон, один с юга, другой с севера. За ними моторизованные корпуса. Ставка запретила отход. Сколько там народу полегло, один Бог знает. Оба прорыва соединились. Все оказались в котле, не только ополченцы, но и вся 32-я армия резервного фронта, и ещё одна, 24-я, и в придачу три армии Западного фронта».

«В котле?»

«Это у немцев так называлось. В окружении. Сперва вроде бы поступил приказ пробиваться на Сычёвку, на Гжатск. Пытались прорваться, этот прорыв дорого обошёлся. А тут и вообще связь со штабом прекратилась. Нам всё говорили, идёт помощь, а на самом деле командование бросило нас на произвол судьбы. Кругом леса. Пошли разговоры, что немцы никого в плен не берут, считают, что всё ополчение состоит из комиссаров и евреев. Сдаваться бессмысленно. Да и вообще от всего московского ополчения остались только отдельные отряды. Не отряды даже, а кучки полузамёрзших людей. Под Ельней полегло всё наше ополчение».

Тишина, книги по-прежнему лежат на полу, створки шкафа распахнуты настезь. За окном сыплется снег. В самом деле, не надо ломать голову, потом разберёмся. А вот закусить бы не мешало, ты тоже, наверное, проголодался, бормочет писатель. Сбегать на кухню.

«На кухню не смей. Потерпишь».

«Никогда не думал, что тебя увижу».

«Я тоже не думал».

«Далеко тебе ехать?»

«Чем дальше, тем лучше».

«Я тебя провожу».

«Ни-ни».

«Ничего со мной не будет. Или ты сам боишься?»

«Я? – спросил отец. – Меня нет и не было, заруби себе на носу. Ведь это самое логичное, а? Самое правдоподобное».

«Так-то оно так».

«Я погиб за Родину в октябре сорок первого, – сказал гость торжественно и даже не без некоторого самодовольства. – Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей... Все приказы так заканчивались. Вы похоронку получили?»

«Не знаю... мама об этом ничего не говорила».

«Не получили. Да какие там похоронки. Не до того было... Пал за Родину, а где похоронен, хрен знает, может, под Ельней, а может, на Северном полюсе... И сколько нас было, и где мы лежим, никто не знает и никогда не узнает... Никто нас не хоронил, не до того было. Пали, и пускай лежат. Умер Максим, и хрен с ним. Весной снег сойдёт, вороны расклюют. Ворон знаешь сколько в том году развелось?»

От густого снегопада в комнате стало сумрачно, поблескивали сумасшедшие глаза гостя.

«Говорилось, пять дивизий народного ополчения, может, пять, а может десять – а где они? Нас всё равно что не было».

«Дальше», – попросил писатель.

«Зачем тебе? Хочешь обо всём этом написать? Ну, валяй, пиши. Сочиняй! Всё равно ничего не получится. Об этом писать невозможно. Кто там был, не расскажет, а кто захочет написать, выйдет неправда».

«Ну а всё-таки».

«Всё-таки... Сначала шли кучками, старались только не потерять направление – на восток. Шли, шли, одного нет, другого нет. Потом я вообще остался один. В одной деревне попросился ночевать. Хозяйка с детьми на полатах, мужа нет. Положили меня на лавке. Только было задремал, постучали. Да как ещё постучали! Входит патруль: офицер и два солдата. Ищут партизан. Я тогда ещё не говорил по-немецки, но кое-что понимал. Немец, видимо, знал немного по-русски, спрашивает: это кто? Хозяйка, вечно буду её помнить, отвечает: здешний, из нашей деревни. У меня отросла борода, весь оборванный, вполне могу сойти за колхозника. Почему не у себя дома? А у него дом сгорел. Почему в военном? Хозяйка объ-

ясняет: был мобилизован, дезертировал, не хочет с вами воевать. Пошли! Привели в штаб. А там...»

«Как! – вскричал писатель. – Вернике?»

«Какой ещё Вернике».

«Ты же говоришь, читал... – Он ходил взад-вперёд по комнате. – Так значит, – бормотал он, потирая лоб, – вопреки всему, вопреки всякой вероятности и даже вопреки моему замыслу... ты жив».

«Можно считать и так», – сказал отец и развёл руками, как бы извиняясь.

Февральский снег валит густыми хлопьями, пурга разгулялась, исчезли дома, не видно перекрёстков, и фигура странного визитёра растворяется, тонет в белой каше.

## **XLVI Вдоль по Питерской. Генерал Колесников**

Примерно тогда же

Неизвестно, когда именно сверкающий чёрный лимузин с пуленепробиваемыми стёклами подкатил к подъезду. Если это произошло в тот же день, то они чуть было не столкнулись нос к носу: отец выходил из дому. Несколько минут спустя в коридоре продребезжал звонок. Отворил кто-то из жильцов. И... акции писателя в коммунальной квартире внезапно чудесным образом подскочили. Новый, чрезвычайный импозантный гость, в шинели с золотыми погонами и барашковой папахе, с фирменным пакетом на руке, с портфелем в другой, молча, не глядя, – сосед едва успел посторониться – вступил в квартиру, прошагал мимо сундука. Остановился перед дверью писателя и постучался костяшками пальцев.

Раз, другой. Ответа не было.

Гость входит.

«Привет!»

Он стоит на пороге, снег капает с его папахи.

Писатель открыл рот.

«Не узнаёшь?»

Подойдя к столу, генерал сдвинул чашки, водрузил приношение. Портфель был прислонён к стенке. Из внутреннего кармана явилась плоская фляга тёмного стекла. Он искал глазами, куда сбросить шинель и папаху.

Писатель показал на раскладушку. Гость остался в мундире с планками орденов, в погонах со звёздами, излучавшими таинственный свет, в синих брюках с голубыми лампасами.

«Сергей?» – пролепетал, наконец, хозяин.

Генерал раскладывал на тарелках бутерброды с паюсной икрой, балыком и ещё Бог знает с чем, нарезал ломтиками лимон.

Писатель переводил глаза с пиршественного стола на изумительный парадный наряд Серёжи, хотя изумляться, собственно, было нечему. Какой же это род войск, спросил он.

Генерал искоса, подняв бровь, поглядел на друга.

«А вот меня всё-таки интересует... – проговорил он. – Не подумай, что я собираюсь тебя выпытывать. Просто так, по-человечески. Как ты вообще представляешь себе твоё дело?»

«Моё дело?» Писатель пожал плечами.

«Может, тебе вообще не хочется вспоминать?»

«Не очень. Темна вода во облацех! Вот как я его себе представляю».

«Уж это точно. А всё-таки?»

«Я давно уже перестал об этом думать, – сказал писатель. – Пытался, конечно, разобраться. После лагеря. В общем-то дело банальное. Был свидетель, ещё там какие-то показания. Не в них суть. Ты это знаешь лучше меня... Суть – это доносы, о них, конечно, молчок. Короче говоря, было два осведомителя».

«Два?»

«Один – это ты»,

«Допустим. А кто второй?»

«Глаша. – Писатель назвал фамилию Аглаи. – Была такая девочка на нашем курсе. Ты её, наверное, не помнишь».

«Помню. Черноглазая?»

«Красивая девушка. По-своему, конечно».

«Вы всегда втроём ходили, вы и эта, как её».

«Да. Что-то было между нами. Она меня ревновала к своей подруге, сентиментальная история. Потом уже я узнал, что она была дочерью репрессированного. Так что всё понятно, её прижали...»

Генерал внимательно слушал.

«Ага. Вот как, – проговорил он. – А ты... не хотел бы взглянуть на своё дело?»

Наклонился и, не дожидаясь ответа, отщёлкнул портфель.

«Я запросил его. Не следственное, конечно, там ничего особенного нет. Оперативное! С удовольствием подарил бы тебе на память. Но! – он развёл руками. – Не могу. Его надо вернуть».

Он взвешивал папку на ладонях, улыбаясь, поглядывал на друга. Так повар держит на подносе фирменное блюдо. Так посол иноземной державы преподносит драгоценный подарок.

«Хочешь полистать? Рассчитываю, конечно, на твою скромность. Всё должно остаться между нами».

Автор хроники, как зачарованный, смотрел на пухлую папку. Медленно покачал головой.

Генерал поднял брови.

«Неинтересно?»

Писатель снова помотал головой.

«Такая возможность может представиться только один раз в жизни. Не хочешь – как хочешь. Дело вот в чём... Я, как это ни смешно, вынужден защитить свой приоритет».

Генерал швырнул добычу в разверстную пасть портфеля.

«Ты ошибся, – сказал он. – Я просмотрел все материалы. Там только один информант – под псевдонимом, разумеется».

«Она?»

«Нет. – Генерал усмехнулся. – Я!»

«Как, – выдал писатель, – кроме тебя... никого не было? Ты единственный осведомитель, больше никто?»

«Так точно. Не знаю, что ты там говорил в присутствии этих девиц, очевидно, какие-то пустяки. Во всяком случае, сведений о том, что твоя Глаша сотрудничала с разведкой, нет».

Сумерки сгустились. Гость взглянул на часы. Задержался я у тебя, пробормотал он.

«Разведка, – сказал писатель. Так это у вас называлось».

«Именно так».

«Ты меня посадил, Серёжа».

«Не я. Тебя государство посадило».

Он протянул портсигар, писатель покачал головой.

«Дукат?»

Генерал щёлкнул зажигалкой, затянулся и выпустил, выпятив губы, дым к потолку. При чём тут Дукач, спросил он холодно.

«Disatum значит по-латыни герцогство».

«Я не герцог. Это заграничные... Отчуждённых не курим. Так на чём, стало быть, мы остановились... Я твои чувства прекрасно понимаю».

«Мы были друзьями, Серёжа. Сколько тебе заплатили?»

Генерал помрачнел. Тяжело взирал на писателя.

«Да. Мы были друзьями. Если ты думаешь, что я пришёл оправдываться, то ошибаешься. А если всё ещё не понял, я объясню».

Пауза.

«Что ты хочешь мне объяснить?»

«Одну простую вещь. Всякое государство должно защищаться. А наше – тем более».

«Чьё это – наше?»

«Наше. Моё и твоё. Повторяю: всякое государство, и особенно такое, как наше, советское».

«Защищаться?»

«Да».

«От кого?»

«В том числе и от таких, как ты. Ты пей, там ещё осталось... Закусывай... Я имею в виду не тебя сегодняшнего, а твои тогдашние настроения».

«Откуда ты знаешь, что мои настроения изменились?»

«Я думаю, жизнь тебя научила».

Он поднялся и подошёл к окну.

«Пурга-то какая».

Руки в карманах форменных брюк, крепкий затылок. А тогда – ещё мальчишеский, с ямкой. Медленно вращается в тёплом тумане, переливаясь цветными огнями, люстра шикарного ресторана «Савой». Официантка в кокетливом фартучке, в короткой тесной юбке на роскошных бёдрах. Обращается только к Серёже. Он всегда при деньгах... Жирный голос конферансье.

*Сегодня у нас в гостях...*

Там в углу сидит похожая на Целиковскую.

*Вдоль по Питерской. С кала-а! Кольчиком. Да эх-ы.*

Генерал вернулся к столу.

«Наше государство, к твоему сведению, да, наше социалистическое государство, устроено так, что критиковать его, а точнее сказать – клеветать на него – нельзя. Недопустимо. Почему? – Он разливает остатки зелья по стаканам. – Да потому, что это значит требовать перемен. А любые более или менее серьёзные перемены, реформы и так далее для нашей системы опасны. Наше государство – монолит. Каков он есть, таков он и есть. Это не глина, которую можно мять так и сяк. Попрошу меня не перебивать».

*Едет миленький, сам на троечке.*

«Ты меня слушаешь?»

«Слушаю, слушаю...»

«А теперь вспомни, что ты говорил. Как был настроен. Я-то хорошо помню».

«Ещё бы. Всё записывал».

«Записывал или не записывал, не обо мне речь. Ты говорил, что у нас фашистский строй. Как у немцев. Говорил? Говорил. Что ж, – Сергей усмехнулся, – может быть, и фашистский. Смотря как посмореть. Ну и что? Что с того, я спрашиваю!»

Усмехнулся и писатель углом рта.

«Давай, – сказал гость, берясь за стакан. – Во-первых, неизвестно, что лучше. Во всяком случае, благодаря этому строю мы победили... Это режим твёрдого руководства, вот что важно. Для России тем более. А во-вторых...»

Он стукнул своим стаканом о стакан писателя.

«А во-вторых, и это, брат, самое главное... Ничего менять нельзя, вот в чём дело-то. Ни-ни! Что есть, то есть. Иначе начнётся такое, что... Русский народ – это, может быть, самый терпеливый народ на свете. Но если ослабить узду...»

Генерал погрозил пальцем, раздавил в блюдце окурки.

«Тебе, может быть, и казалось, что надо сказать правду, открыть людям глаза... Ишь какой нашёлся! У кого голова на плечах, тот знает правду... И помалкивает. В государственных делах, в которых такие, как ты, ни хрена ни смыслят, правда – заруби это себе на носу! – она подчас хуже всякой лжи. Вреднее всякой лжи! Да и что это значит, сказать правду? Это значит призывать к перевороту. Вот так, друже. Сегодня ты говоришь мне, завтра скажешь другим. Слабых, неустойчивых людей сколько угодно. Особенно среди тогдашней молодёжи. Уж нам-то это хорошо известно... Вот они и подумают: а на хера всё это терпеть? Пора приступить к делу. Да ты и сам, кажется, собирался... я уж не помню. Прокламации, что ли, разбрасывать...»

Он снова взглянул на часы, нахмурился. Вынул блокнот.

«Вот что. Мне неудобно выходить...»

Держа в руках исписанный листок, писатель прочёл: *Живо. Одна нога здесь, другая там. Генерал Колесников.*

Писатель вышел из подъезда, приблизился к чёрному лимузину и, смахнув снег со стекла, показал человеку записку. Вскоре позвонили в коридоре. Писатель принял от шофёра новый пакет, бутылку...

Время отступило. В полутьме гость и хозяин сидели, понурясь, за столом, жевали, о чём-то думали, подносили к губам спасительное зелье. А помнишь, говорил один. Как мы с тобой. Как не помнить. Молодость, она, того... Была и сплыла. И не успели оглянуться. А эту помнишь. Как же... Было дело под Полтавой. Ничего у меня с ней не вышло. Между прочим, вспомни. Какое было время: баб сколько угодно. А мы, лопухи. Вообще ничего не вышло. Вот так, брат. Жизнь-то, а? Как обернулась. Ты уж меня прости. Да чего там. Кто старое помянет... Может, тебе помочь. Да чего там помогать. Ты как живёшь-то. Да ничего, помаленьку. Живу, хлеб жую. Один живёшь. Да как тебе сказать. Может, тебе чего надо. Ты скажи. За тебя, друг. Надоела мне вся эта жизнь, ты не смотри, что я в таких чинах... Вот так – пальцем по горлу – надоела. Повидались-таки. Брат! з тебя! Обнимались, утирали слезу, тихонько пели.

*Я вечер, молода. Во пиру была!*

## XLVII Слава Богу, живём в большой стране

1 марта 1977

Что за день, думал писатель. Ноги тащили его к зловещему зданию. Такая же пасмурная погода стояла и в тот день, обманчивая петербургская весна. Мостовая блестела от сырости. Был даже, кажется, тот же день недели. Дым рассеялся, самодержец выбрался из кареты. «Хорош, – сказал он, взглянув на Рысакова, и, отвернувшись, пробормотал: – Un joli monsieur<sup>2</sup>». Он ждал смерти вот уже сколько лет. Кажется, снова обошлось. «Ваше величество, – кто-то подбежал, – вы ранены?» – «Я нет. Слава Богу. А вот...» – кивнул на двух умирающих: конвойного казака и прохожего мальчика. В эту минуту писатель, войдя в подъезд, предъявил повестку и паспорт.

<sup>2</sup> *Здесь: Какая всё-таки сволочь (фр.).*

Царь шёл нетвёрдой походкой к решётке канала, к человеку, который стоял у решётки, скрестив руки. Человек не снял шапку. Царь смотрел на него с любопытством. Человек поднял руки и сделал шаг навстречу. В руках был пакет. Бомба шмякнулась о булыжную мостовую, император, с помутившимся взором, в ключьях обгоревшей одежды, с полуоторванными ногами сидел в луже крови, прислонясь к решётке, а в двух шагах от него на мостовой, с развороченным животом лежал Гриневицкий.

Писатель явился, как положено, на Кузнецкий мост для допроса после домашнего обыска и изъятия компрометирующих материалов. Ему указали комнатку слева от проходной, окно забрано решёткой, стол и два стула. Минут через пять вошёл человек в штатском. Он был русоволос, ни стар, ни молод, со светлым невыразительным лицом. Поздоровался кивком, сел напротив, вынул портсигар. Курите?

Писатель покачал головой.

«Ну и я не курю», – сказал сотрудник, не назвавший себя, и спрятал портсигар.

«Ну что ж... – проговорил он, не спуская светлых глаз с посетителя. Впечатление такое, что он одновременно смотрит на тебя и сквозь тебя. Мысленно прикидываешь: капитан, майор? – О чём же, стало быть, мы с вами будем беседовать?»

Подследственный сделал неопределённое движение, дескать, это уж ваше дело.

«Давайте сразу договоримся. Я никаких протоколов составлять не собираюсь, хотел бы просто с вами потолковать, а вас попрошу не хитрить, не притворяться, что вы не понимаете, в чём дело, для чего вас вызвали... Одним словом, не строить из себя целку!»

Он употребил это непристойное выражение просто и непринуждённо, как если бы оно давно стало общеупотребительным, – что, вообще говоря, так и было – и тем давая понять, что сама обстановка беседы должна быть непринуждённой. Однако в этой конторе все слова надлежит понимать по-особому. «Потолковать» – это было в некотором роде нововведение. Писатель насторожился.

«Ну вот, – офицер хмыкнул, – вижу, вы уже изготовились к обороне».

Он вздохнул, поиграл ключом. Открыл ящик стола и вынул знакомую пухлую папку с грифом и номером. Штамп «ХВ» – хранить вечно. В просторечии: Христос воскрес. Канцелярское бессмертие.

«Вы угадали. Боюсь, что не устарело... Вы как считаете?»

«Я реабилитирован», – сказал писатель.

«Как же, как же; а я разве говорю что-нибудь против?»

Он листал дело.

«Вот тут есть любопытные вещи, – пробормотал он, – похоже, что вы собирались скрыться...»

После этого явилась на свет ещё одна папка, перевязанная шнурком.

«Это я вам возвращаю, это нам не нужно...»

Писатель получил назад свою рукопись.

«А у меня к вам, кстати, вопросик. Касательно вашего, этого... Опять же не для протокола. Вот вы называете одного из... скажем так: одного из крупнейших людей нашего времени – карликом. Почему?»

«Он был низкорослым».

«Людей невысокого роста много. Однако мы не называем их карликами. Карлик – это...»

«Карлик – это карлик».

«Угу. Но согласитесь, что читатель, если только он не полный идиот, понимает, что вы имели в виду не только рост».

«У меня нет читателей».

«Ну-ну-ну. Каждый писатель рассчитывает, что у него в конце концов найдутся читатели. Для потомства пишете, а? Хорошо, оставим это. Но мне всё-таки инте-

ресно, чем объясняется такое отношение к одному из... вы ведь согласны, что вся история нашей страны немыслима без него. Или я ошибаюсь?»

«Тем хуже для истории».

«Кстати, вы тут где-то в другом месте отзываетесь об истории весьма даже презрительно...»

«Она этого заслужила», — мрачно сказал писатель.

«Откуда вы это знаете?»

«Мы все современники...»

«То-то и оно, что современники, — сказал майор. — История, знаете ли, меняется. Сегодня одно, завтра другое. Можно так повернуть, можно этак. Историю, я вам скажу, хуже всего понимают как раз те, кого она, пардон, за жопу взяла».

«То есть современники?»

«Они самые», — был ответ. Человек снова раскрыл и протянул портсигар.

«Спасибо, вы уже спрашивали».

«Но, может быть, вы передумали».

«Передумал, стоит ли курить?»

«Передумали, стоит ли так унижать нашу страну, её вождя... А впрочем, хрен с ним, — неожиданно сказал майор. — Умер Максим, ну и... Вернёмся к делу».

Архивная папка лежала перед ним, он постукивал ногтями по обложке.

«Вас реабилитировали, разрешили вам жить в Москве, а вы опять за своё. Опубликовали... простите, не хочу вас обижать... свою стряпню за границей. Сам этот факт, знаете ли... не говоря уже об издательстве. Известное издательство, знают, что им печатать... И кто они такие, тоже известно. Книжка ваша тянет на статью, скажу вам прямо, на сто процентов. С первой страницы до последней».

«Какая книжка?»

«Ну-ну-ну. Будто вы не знаете».

Из стола явилась книга.

«Не моя, — сказал писатель. — Я её читал, но не я её автор».

Майор испустил тяжёлый вздох.

«Ну вот опять. Я же просил. Я, между прочим, не для того вас пригласил, чтобы добиваться признания. Тут дело ясное! Если уж на то пошло... — он презрительно взглянул на роман, швырнул его в стол, взглянул на писателя, — мне ничего не стоит сейчас же выписать ордер на арест, и разговор окончен! Какая статья, сами знаете. Она теперь усовершенствована. Хранение, распространение, то да сё. Публикация клеветнических материалов за рубежом. Вот так, уважаемый... — тут он в первый раз назвал сочинителя по имени-отчеству. — Кстати сказать, не обижайтесь, роман-то, между нами говоря, ни в какие ворота».

Произнеся этот приговор, он встал, выглянул в коридор и сделал знак кому-то. Оба молча сидели друг против друга. В дверь деликатно постучали, явилась с подносом пышнобёдрая буфетчица в наколке и круглом передничке.

«Угощайтесь». Майор вдумчиво размешивал ложечкой чай в стакане с подстаканником, отхватил крепкими зубами кусок бутерброда с ветчиной. Следом за ним взял стакан и писатель, обжигаясь, отпил глоток.

«Бежать задумали?» — неожиданно спросил офицер.

«Как это, бежать».

«Уехать. Есть такие случаи. По еврейской линии... Ведь у вас папа был, если не ошибаюсь, каким-то боком? А кстати, что с ним случилось?»

«Вы же знаете...»

«Вы что, думаете, мы всеведущи?»

«Он погиб, — сказал писатель. — В сорок первом году».

«На фронте? Вот видите. Отец проливал кровь за родину, а вы её собираетесь оставить».

На что писатель возразил, что не собирается, да и вообще впервые слышит.

«Так уж и впервые! Все знают, вся Москва, можно сказать, только и говорит об этом на кухнях. А вы не слышали. Впрочем, – сказал он, вытирая пальцы бумажной салфеткой, кивая рассеянно и словно говоря сам с собой, – в самом деле, что вам там делать? Это ведь только пока вы здесь, на вас обращают внимание. А приедете – кому вы там нужны?»

Приоткрыв дверь, он щёлкнул пальцами. Снова явилась упитанная буфетчица забрать поднос, сотрудник оценивающе смотрел на её фигуру.

«Н-да... – Вздохнул, сложил руки на груди, склонил голову на плечо. – Я понимаю, вы хотите сказать, что вам здесь не дают заниматься литературой, преследуют, грозят посадить снова...»

Майор встал. Повертел головой, оглядывая потолок, хлопнул в ладоши.

«Это так, профессиональная привычка, – промолвил он, усмехаясь. – Разведка есть разведка, она ведь и против себя тоже работает. – Сел. – Так о чём бишь я...»

«Я бы вам не советовал, – сказал он. – По-человечески не советовал бы. Ну, помуряжат вас, разок-другой придут с обыском. На допрос вызовут. Это же для вас не новость. Ну, в самом худшем случае, поживёте сколько-то времени, так сказать, на природе. У какой-нибудь бабы. Вдали от суеты... Вы ведь стреляный воробей».

Что он имел в виду, ссылку?

«Долго не продлится. А вот эмигрировать не стоит. Немного терпения. Тут ведь дело такое: скажем прямо, пахнет керосином».

Он барабанил пальцами по столу.

«М-м?»

Подследственный молчал.

«Керосинчиком, керосинчиком пахнет. Эксперимент не удался. Не вышло, прямо скажем. Сидим все, пардон, в жопе. Нужно что-то предпринимать. А для этого, как вы понимаете, нужна крепкая рука, нужны смелые, ответственные люди. Надо выволакивать страну из дерьма... Вас, конечно, удивляет такая откровенность. Но ведь это почти что, можно сказать, и не тайна. Можете наступать на меня, я не возражаю. Но уж тогда вместе сядем, хе-хе!»

Офицер встал, прошёлся по тесной комнатке, и, как всегда, невозможно было понять, лжёт он, как все они, – пудрит мозги, ломает дурака – или всё это говорит-ся всерьёз.

«Тут такие дела готовятся, а вы собрались драпать... (Писатель сделал протестующий жест, человек остановил его). Ну, пять лет, ну, восемь от силы – сколько это ещё может продолжаться? А потом крах. Да ещё какой. Страна у нас огромная, если уж рухнет, то такой будет трам-тарарам! Все усилия, жертвы, всё – псу под хвост. Света белого не увидим. Не-ет-с, – и он помахал пальцем перед носом подследственного, – этого допустить нельзя, мы и не допустим. Можете думать о нас что хотите, но только единственная сила, которая может спасти Россию, – это мы. Да, мы, государственная безопасность. Вот такие дела, уважаемый. А вы говорите...»

Писатель, несколько обескураженный, выслушал эту тираду. Итак, даже они... Не он один спрашивал себя, на чём всё это держится, и не находил ответа. И, однако, не мог представить себе, чтобы этот режим когда-нибудь испустил дух.

Он спросил:

«А как же будет со мной?»

«С тобой? – поднял брови майор, капитан или кто он там был, неожиданно перейдя на “ты”. – Следствие продолжается. Кто однажды отведал тюремной баланды... как это говорится?»

«Будет жрать её снова».

«Ну уж и пошутить нельзя. Ладно! – Он хлопнул ладонями по столу. – Заболтался я с вами, где у вас повестка-то...»

Он небрежно черкнул что-то. На нетвёрдых ногах составитель этой, вопреки разным несуразностям, всё же правдивой хроники направился к выходу. На улице моросил дождь.

Первое марта, пасмурный денёк... Два взрыва на Екатерининском канале.

## **XLVIII Сон без сновидца, называемый действительностью**

Вечером 1 марта 1977

Он вернулся домой сильно утомлённый и, как был, не раздеваясь, повалился на раскладушку. И ему опять стало сниться: сперва, выходя на крыльцо вахты, он ещё сознавал, что видит сон, с любопытством ждал, что будет дальше; ночь была ясная и морозная, и небо над головой усыпано мелкими и крупными брильянтами. Но понемногу действительность сполна вступила в свои права, и, проаживаясь от пожарного депо к магазину для вольнонаёмных, поскрипывая подшитыми валенками взад-вперёд, оставляя за собой угловую вышку, где темнела фигура стрелка и два огненных глаза били под прямым углом, над тыном и навесом с рядами колючей проволоки, и возвращаясь назад, он окончательно уверился в том, что всё происходившее в доме на Кузнецком мосту, болтовня майора в штатском, покушение на императора, комната родителей, куда он вернулся с допроса, если это был допрос, а не что-то тайное, двусмысленное и пахнущее провокацией, – что всё это приснилось ему, когда, усталый, он присел на ступеньки магазина и задремал ненароком. Он открывает глаза, дрожа от холода, встаёт на затёкшие ноги. Воспоминание о сне исчезло, он хлопал себя по бокам, хрустел по снежной тропе и ни о чём больше не думал.

Но правильной будет сказать, что мысль его, вслед за телом, как бы околела, сосредоточилась на одном: он выжидал. Он следил за временем, поглядывал на Большую Медведицу над тёмным лесом и постепенно удлинял свой маршрут. И вот уже, чуть погодя, человек-тайна, человек себе на уме шибко шагает в непроглядной тьме и, наконец, дошёл до оврага. Он вспомнил: деревня называлась Кукуй.

Он стоит на крыльце и топает валенками, отряхивая снег. Постучался в дверь. Вдруг оказалось, что дверь не закрыта. Это оттого, что его ждали. Он вошёл в сени, в темноте нащупал скобу и, наклонив голову, переступил порог избы. Никого не оказалось, на столе горела свеча, блестел жестяной венец вокруг неясного лика Богородицы, на стене пощёлкивал маятник часов-ходиков, висел плакат «Все на выборы». В ужасе он понял, что попал в ловушку, законвоируют, добавят срок, переведут на другой лагпункт, – и весь в поту проснулся.

Было жарко в одежде. День угас. Писатель сел на койке. Кто-то ещё, кроме него, находился в комнате: он услышал слабый смехок. В сумерках она сидела спиной к столу, и, как когда-то, поблескивали её глаза, белело лицо в платке.

«Ты здесь? – проговорил он. – А я сейчас был в деревне, прихожу, тебя нет. Нехорошо оставлять огонь, спалишь избу... Куда ты пропала?»

«К тебе поехала», – был ответ.

«Как же ты меня разыскала... столько лет прошло».

«Вот так и разыскала».

Он продолжал расспрашивать: «А как же твои ребята?»

«Они уже взрослые, зачем я им?»

И он подумал – в самом деле, при чём тут дети, он никогда ими не интересовался.

Тут ему пришла в голову простая мысль, что там, в лесном и болотном краю, время не может идти так, как оно идёт в столице. Там время не спешит. Там правит Сатурн. И его не удивило, когда, привыкая к сумраку, он увидел, что она ничуть не изменилась. Всё так же стояла её высокая грудь, светилась открытая шея и ровные зубы белели в улыбке.

Она сбросила на плечи платок, вынула гребёнку из ореховых волос, снова вставила.

«Маша, – сказал он, чуть не плача от счастья, – Маша... А я так скучал по тебе. Я тебя не забыл!»

«Вот и свиделись», – сказала она спокойно.

«Я думал, никогда больше не увижу тебя».

«Куды ж я денусь».

«Ты никуда не уедешь, ты здесь останешься?»

«Не знаю. Коли ты не против...»

«А дом, – сказал он, – можно продать».

«Какой дом?»

«Твой, в деревне. Мы поедем вместе, что надо, заберём. Сейчас можно ехать свободно, лагеря уже нет».

«Это кто тебе сказал, что лагеря нет. Лесу, может, и поубавилось. А лагерь, – она усмехнулась, – куды ж он денется».

«А деревня?»

«Очнись, милый. – Что-то материнское звучало в её голосе, и чувствовался знакомый северный акцент. – Ведь сам же говоришь, неровен час, можно спалить избу. Вот она и сгорела. В деревне, может, кто и остался, а дома больше нетути!»

«Ну и Бог с ним, – согласился писатель. – Даже ещё лучше. Маша! Что это мы всё говорим не о том?»

«А о чём говорить-то. Ну вот, – засмеялась она, видя, как он встаёт, тянется её обнять, – опять за рыбу деньги. Чуть только пришла, он уж снова за своё».

«Маша, я ведь тебя люблю. Только одну тебя по-настоящему и любил. Верить ли, думал: а что, если мне туда вернуться... Маша! У меня никого больше нет, одна ты и осталась».

«Так уж и одна...»

«Возился тут с одной, ничего от тебя не утаю, но поверь, Маша, любовь бывает только одна! Я всё помню, я ничего не забыл... Вот говорят, – бормотал он, сидя на раскладушке и вперяясь во тьму, – вот говорят, тоска по лагерю... А ведь это правда. Ведь это же, можно сказать, самый что ни на есть законный образ жизни для русского человека. Небось слыхала поговорку: кто однажды отведал баланды...»

Она перебила:

«Нешто ты русский?»

«А кто же я? Господи, я и сам не знаю, кто я... Вот и я думал: что, если...»

«Не болтай! – послышался строгий голос. – Освободился, Бога благодари».

«Вот я думал: плюну на всё и махну к тебе. И приедем вместе».

«Тесновато будет», – сказала она задумчиво.

«Как-нибудь устроимся, Маша... Иди скорей, Маша...»

«На койке, говорю, вдвоём тесно будет... Да не гожусь я больше для таких дел, милый. Ты небось и не заметил».

Повернув голову, он увидел, что гостя всё ещё сидит боком к столу, силуэт на фоне светлого окна обведён серебряной каймой. Она встала, провела руками по груди и широким бёдрам.

«Раздеться мне, что ль, или так видно?»

И действительно, он увидел выбухающий живот.

«От кого же ещё...» – сказала она спокойно, отвечая на невысказанный вопрос.

«И ты молчишь?» – вскричал писатель.

### XLIX Побег № 3. Порushенное отечество

24 апреля 1977

#### 1

Зыбкая, смутная, как сама действительность, как проект ненаписанной главы, погода сопровождала весь его долгий путь. Он высадился в большом городе, стоял шум, шёл дождь, он двигался в толпе пассажиров, – это был, вероятно, вокзал, – постепенно всё смолкло и опустело, – в сумерках, под низкими, серыми, как намокшая вата, облаками, прыгая через тускло блестящие рельсы, пробираясь между вагонами, он достиг отдалённой платформы, и там ждал другой состав, путешественник смутно помнил, что должен был пересестъ на поезд, идущий на Котлас, но оказалось, что он уже на той станции, откуда предстояло ему ехать в засекреченное лагерное княжество: длинная череда теплушек и два или три вагона для вольнонаёмных ждали отправления, – и он взобрался, никем не замеченный, в вагон. Послышались крики команды, топот, говор, этап из России прибыл – но разве и эта станция не была Россией? – и началась торопливая посадка. Но в вагон, где он сидел, никто не вошёл, и так он и поехал, один, лёжа на скамье.

Ночью его растолкали, милиция, подумал он, дело происходило в далёкой вымершей деревне, в заброшенной церкви, где он заночевал, – и понял, что всё пропало, сейчас потребуют документы, но это оказался контролёр с фонарём. Где мы, спросил пассажир. Контролёр ответил: в немецком трофейном вагоне. Пассажир не понял, как это, в немецком? Был немецкий, а теперь русский, отвечал контролёр и протянул руку за билетом; ты что, забыл, что мы победили. Потом сказал: пропуск. Пассажир спохватился, ведь они въехали в закрытую зону, а о пропуске он забыл; в отчаянии он протягивал мужику деньги. Тот, не говоря ни слова, сунул купюру в карман, он вовсе не был контролёром, а ходил по вагонам, собирал на выпивку, – и, покачивая керосиновым фонарём, двинулся дальше по гремящему шаткому вагону.

Пассажир стоял перед грязным окном, дожидаясь, когда конвой внизу пересчитает людей, видел, как колонна кольхнулась и поспешно всей массой стала сходить и съезжать с насыпи, – построились, конвой прокричал команду, двинулись, растворились во мгле, – лишь после этого он выглянул из тамбура: никого, – и спрыгнул с подножки. И тотчас раздался свисток, лягнули буфера, состав двинулся в обратную сторону. С деревянным чемоданом и дорожным мешком за плечами приезжий шагал по шпалам узкоколейки, он помнил дорогу и знал, что дорога повернёт в сторону, вовремя сошёл, там была проложена лежнёвка, рельсы из длинных жердей для вагонок, идти по ступняку, разбитому лошадиными копытами, кое-где вовсе провалившемуся, было неудобно, он пошёл по осклизлой лежне, опираясь на палку, чтобы не оступиться в болото, держа в левой руке чемодан.

Так он добрался до лагпункта, осталась в стороне казарма, он прошёл мимо сарая электростанции, миновал магазин для вольняшек, конюшню, пожарное депо. Впереди тянулся высокий тын, увешанный лампочками, с угловой вышки над проволочными рядами бил прожектор, было тёмное утро. Небо очистилось, в вышине горели созвездия. Ворота были широко раскрыты, вокруг стоял конвой с овчарками на коротком поводке, смиренно сидевшими на костлявых задах. На крыльце в длинной шинели и лисьей шапке стоял сам начальник лагпункта. Послышалась жестяная громающая музыка, это дул в трубы лагерный оркестр. Начался выход бригад.

Никто не заметил, не видел приезжего; он ждал; развод кончился, ворота закрылись. Небо над лесом пожелтело, побагровело, он не мог понять, что это: восход, закат или зарево дальнего пожара, и шёл тёмной таёжной тропой, стало жарко от быстрой ходьбы, и так как он был – раньше каким-то образом не заметил – в бушлате, то расстегнулся, стащил с головы взмокшую ушанку – и, наконец, вышел к оврагу. По ту сторону находилась деревня. Он подошёл к крайней избе, вззошёл на крыльцо, никто не откликнулся на его стук. Он спрыгнул, подкрался к тёмному окошку и тут только заметил, что и окна, и дверь заколочены крест-накрест старыми, потрескавшимися досками.

А ведь она должна была его ждать. В недоумении он двинулся дальше, деревушка, десяток кривых изб, казалась вымершей, всё же кто-то появился вдали. Он спросил у горбатой, сморщенной бабуши, что случилось, куда она делась. Кто? – спросила старуха. – Тебе кого надо? Старая ведьма была к тому же ещё и глуха. Маша! Маша! – закричал, теряя терпение, путешественник. – Которая Маша? Эва, прошамкала она, да ведь она померла. Сердце оборвалось у приезжего, как, прошептал он, как это померла! когда?.. Да тому уж лет десять, сказала старуха.

## 2

Сон или не сон, говорил он себе, но в любом случае – перст судьбы. Это было одно из тех путешествий (сколько их уже было!), когда нет уверенности, что доберёшься до цели, когда неизвестно, встретит ли тебя кто-нибудь; поездка в направлении, обратном течению времени.

Ночной поезд шёл теперь значительно быстрее, в Горький прибыли через каких-нибудь 9–10 часов. Здесь предстояла пересадка на Котельнич до таинственной полусекретной станции, единственной, которую ещё можно было найти на карте. Путешественник не нуждался ни в каких картах. По прибытии он увидел за концом платформы верстовой столб, четырёхзначное число.

Под проливным дождём он пробирался через путаницу чёрно-блестящих рельс, обходил мёртвые составы, скелеты вагонов; неизвестно и не у кого спросить, ходят ли ещё полагерной ветке на север. Расписания не существовало, пробовал расспросить какого-то мужика в брезентовом армяке; судя по невнятному ответу, в иные дни можно было сутками дожидаться отправления. В старом немецком трофейном вагоне с полустёртой надписью «Reichsbahn» писатель качался на лавке, поезд стучал, гремел, путешественнику снился дальний путь, снились леса, летящие за окном; открыв глаза, приподнявшись, он видел в слезящемся стекле всё ту же дощатую платформу и ни одной живой души, вновь раздался свисток, вагон вздрогнул, взвизгнули колёса. Вошёл человек в рубище, в фуражке контролёра.

Пассажиры вспомнили детскую книжку: *это что за остановка, Бологое или Поповка?* Где мы, спросил он. Колевец, отвечал контролёр. А-а, проговорил пассажир, с трудом преодолевая сонливость, а следующая? Человек пожал плечами, следующая Керженец, сказал он. Пассажиры покачали головой, хитро усмехнулись, вы, наверное, здесь недавно, Керженец давно проехали; Лапшанга – вот какая будет следующая. А за ней Белый Лух. Ошибаетесь, гражданин, какой-то такой Белый Лух, нет тут никаких белых лухов, холодно возразил контролёр. Да что вы мне говорите! – пассажир вышел из себя, – я тут... – он хотел сказать: я тут жил. Вам куда надо? – спросил контролёр. А вот туда, буркнул пассажир, чуть было не прибавив: не твоё собачье дело, и протянул билет. Контролёр щёлкнул компостером. Ваш пропуск, сказал он. – Какой ещё пропуск, я же предъявил билет. – Билет билетом, а пропуск пропуском, закрытая зона, отвечал наставительно человек в фуражке.

Всё ещё закрытая? – пробормотал пассажир. – Чего ж там закрывать? Он рылся в бумажнике. Премного благодарим, ответственвал контролёр, сунул трёшку в карман, и прошло ещё некоторое время. Путешественник, в резиновых сапогах, с заплочным мешком, стоял в одиночестве на песчаной полосе, тянувшейся вдоль рельс, полустанок назывался Белый Лух. Невдалеке холмик, покрытый бурой прошлогодней травой, и полосатая перекладина, это был конец железной дороги. На ручных часах приездего было десять часов, всё ещё московское время. Он смотрел, как маленький пыхтящий паровоз с длинной трубой совершал манёвр, чтобы подцепить сзади короткий состав. Тёмный занавес туч висел над станционной избушкой, над остатками леса. Дождь утих, готовый зарядить сызнова. Конец света, крайний северный лагпункт.

На самом деле вовсе не конец – этак можно полстраны считать концом света. Писатель рассчитывал за полчаса добраться до бывшего посёлка вольнонаёмных, а оттуда, если не заплутаешься, до Кукуя будет не больше часа бодрым шагом. И он шагал по заросшей насыпи, где когда-то пролегал лесовозный ус, – кое-где ещё лежали потрескавшиеся, полусгнившие шпалы. Мимо буйно разросшихся куртин, через кладбища замшелых пней, мимо болотной трясины и густого подлеска, когда-нибудь он вновь станет тайгой. Он шёл и шёл, а часы показывали одно и то же время. Должно быть, остановились. Увидел, где посуше, и выбрался, наконец, на знакомую дорогу – до посёлка не больше двух километров. И чем ближе он подходил, тем отчётливей чуял родной запах. Ветер нёс навстречу испарения лагеря.

Что же он увидел? Да ничего: несколько деревянных домов, кто-то живёт; выбежала собака, завывала, закашляла, подняв острую морду к серым небесам; он знал: надо идти не торопясь, не останавливаясь, и зверь отстанет; он узнал сарай своей электростанции, пожарное депо, избушку магазина – всё стоит на своём месте. Но зона, самое главное, – зона порушена, нет больше тына, нет вахты, нет вышек. Остатки ржавой колючей проволоки висят кое-где на столбах запретной полосы. Среди болотных трав стоят в воде почернелые бараки с выбитыми стёклами, с провалившейся крышей.

Путник с тоской озирает эту картину. Это было зрелище рухнувшей лагерной цивилизации. Он сказал себе, что все эти годы чувствовал себя эмигрантом среди живших на воле. Ты знал, что твоё происхождение никуда не делось, не рабочий, не крестьянин, не интеллигент, – заключённый – вот сословие, к которому ты принадлежишь, и твои бумаги всюду следуют за тобой, и бушлат, и валенки, расширяющиеся книзу, и лагерная пайка, место на нарах и очко в сортире ждут тебя, и придёт время – ты вернёшься. И вот он, наконец, вернулся, и что же? Отечество его души, заброшенное, осиротелое, обвалилось и догнивает в болотах.

Он свернул к бывшей казарме. На верёвке между шестами висело бельё, на окнах занавески. И здесь обитал кто-то. Путник торопился, из-под полога лиловых облаков проглядывал жёлтый закат. И было уже темно, когда он вышел из леса, перебрался через глинистый овраг, подошёл к дому. Мёртвые окна отсвечивали, как слюда.

Где-то очень далеко хлопнул и прокатился выстрел. Снова тишь, слабый шелест дождя.

Он стоял на крыльце. Нужно было собраться с духом. Нужно раз навсегда покончить с хронологией. Но мы и так с ней покончили. Истинное время повествования следует иному порядку. Вспомнил он и слова Маши – будто изба сгорела. Ничего подобного, это был тот же старый, но всё ещё крепкий дом на краю таёжной дереушки. Писатель вобрал в себя воздух, как перед прыжком в воду, поднял кулак и дважды, негромко, стукнул.

Слабо скрипнула дверь в сенях. Отщёлкнулась задвижка наружной двери. Ему отворили. Она, разве только чуть располневшая, босая, в длинной деревенской

рубаше, с круглым мягким лицом, с большой грудью. Дрогнувшим голосом странник спросил: узнаёшь меня? В полутьме с трудом можно было различить её улыбку. Значит, она была рада? Ему показалось, что она его ждала. Это было совсем уж невероятно. Он не успел прибавить ни слова – она прижала палец к губам. Он остался стоять в тёмных сенях.

Чуть погода его впустили в избу. Как в далёкие времена, на столе горела керосиновая лампа. Поблескивал образ в углу. Широкая кровать была разобрана. Что-то скрипнуло, заплакал ребёнок. Приезжий обернулся. Рослый мужик в майке, с татуировками на плечах, в галифе и тапочках, покачивал деревянную кроватку-зыбку, нагнулся, вынул дитя из зыбки. Маша – на ней была белая блузка и тёмная просторная юбка – сидела на лавке, круглолицая, с перехваченными сзади ореховыми волосами, спокойная, одна рука под грудью, другой подпирая щеку.

«Здорово», – мрачно сказал хозяин, и гость откликнулся: «Здравствуйте...»

«Чего стоишь, снимай свой сидор, разоблачайся...»

Приезжий стащил кепку-кемель с седеющей головы, сбросил лямки мешка, расстегнул куртку. Сидя на пороге, стянул с ног заляпанные глиной резиновые сапоги, размотал портянки.

«Так, – сказал хозяин. – Не узнаёшь? Сапрыкин», – и протянул жёсткую ладонь.

Это был нарядчик Сапрыкин. Ночным утром, когда высоко в редяющих облаках пряталась бледная луна и дежурный надзиратель на вахте, сойдя со ступенек, бил кувалдой о рельсу, нарядчик шагал по трапу, входил в барачную секцию и стучал о нары обструганной доской с рукояткой, на доске был список бригад. С доской и карандашом стоял перед распахнутыми воротами, зычно выкликал номера бригад. Потом снова в поход по баракам, собирать отказчиков, гнать в санчасть, в бур – лагерную тюрьму; да, это был он, могущественный Степан Сапрыкин, царь и бог, и ближайшее лицо при князе-начальнике лагпункта.

«Не ждал, – спросил он, – что увидимся? А я тебя узнал».

Приезжий молча вынимал из мешка гостинцы, поставил на стол бутылку с красно-золотой этикеткой.

«Эге, – сказал Сапрыкин. – Марья! Давай, собирай на стол. Старый кореш приехал».

Время от времени она поднималась из-за стола, брала на руки плачущее дитя, вынимала большую белую грудь из расстегнутой блузки, садилась в сторонке, малыш сосал, отрывался от груди, таращил глаза, мужики подливали друг другу.

«Стёпа...» – бормотал приезжий.

«Чего Стёпа...»

«Жизнь-то, а?»

«Чего жизнь?»

«Жизнь-то как повернулась...»

«Да уж так... Всё одно...»

«Это ты верно сказал...»

«Ты-то как?»

«Да вот, видишь...»

«Где живёшь-то?»

«В Москве, Стёпа, живу».

«Небось далеко пошёл».

«Да уж куда там. Ну, давай ещё по одной со свиданьем».

«Кирюха! – вскричал, точно спохватился, нарядчик. – Поцелуемся, что ли... Такая, брат, жизнь». И уже невозможно было понять, кто что сказал. Где ж мы его положим, пробормотала женщина. С нами и положим, выговорил хозяин. Нешто уместимся? – спросила она. Втроем лежали в тёмной избе, женщина посередине. Что-то хлюпало, поскрипывало, постанывало в сенях и за окнами. Мужской голос пробормотал:

«Маша...»

«Спи».

«Маша, прости меня».

«За что тебя прощать?»

«За всё... Простишь? Иди ко мне, Маша...»

«При нём, что ль?»

«Он спит. – Земеля! ты спишь?.. – Маша, может, ты с ним хотела? Я не обижусь. Маша, он не слышит».

### 3

Ты погружаешься в тело женщины, ты там, тебя больше нет, и нет выхода, ты бредёшь в ночи, навстречу мерцающему огню, и на тысячу километров кругом ни единой души – леса и болота. Но когда странник подошёл к костру, оказалось, кто-то сидит, загородив пламя, в ушанке и телогрейке; он окликнул сидящего, и тот медленно повернул к нему корявое морщинистое лицо, чего тебе надо, спросил он; хочу с тобой поговорить, ответил скиталец; с кем это, возразил тот, нет меня, ступай откуда пришёл.

Странник сказал: я заблудился, позволь мне погреться, а кто ты такой, меня не касается, и знать не хочу, и спрашивать не стану... А впрочем, нет, знаю: ты тот самый Беглец, который *ушёл с концами*, сколько разных известий, разных *параши* я слышал о тебе. Не то форму украл, шапку со звёздочкой, солдатские портки, не то через подкоп, запасся керосинчиком, и никто тебя не поймал, полил шаги керосином, собаки не взяли след. Но будто бы затосковал по лагерю и вернулся – сам, по своей воле. И тотчас никого не стало, путешественник один сидел возле угасающего огня.

Ночью захотелось по малой нужде. Приезжий выбрался из постели, ощупью добрался до двери, вышел из сеней на крыльцо. Небо очистилось и сверкало брильянтами звёзд, как в далёкие небывалые времена. В сенях, накрытое чистой дощечкой, стояло ведро, висел ковш. Он напился. Отворив дверь в избу, он увидел на столе огонёк, колпачок был отвинчен, ламповое стекло лежало рядом. Приезжий опустился на табуретку, сидел напротив женщины; некоторое время молчали.

«Вот такие дела...», – пробормотал он, и снова наступило молчание.

Она разглаживала рубашку на коленях, разглядывала ладони.

«Маша, – сказал он, – я ведь за тобой приехал».

В зыбке зашевелилось, застонало дитя, она качала кровать, покачивала головой, приговаривая: «Ш-ш, ш-ш!»

«Маша, – проговорил гость. – Я жить без тебя не могу. Маша, поедем со мной».

«Куда?» – спросила она, усмехнувшись.

«В Москву».

«Чего я там не видала».

«Маша...»

«Ну». Так говорили здесь, когда хотели сказать: и что же? Что дальше?

«Возьмём с собой ребёнка».

Он добавил:

«У меня комната в Москве. (Она опустила голову). Маша. Ты ведь меня любила».

«Было дело», – сказала она.

«А теперь? Разлюбила?»

Она пожала плечами, еле заметно покачала головой.

Утром Сапрыкин встал мрачный, молчаливый. Нашёл остаток, опохмелился. Ели многоглазую яичницу с огромной чугунной сковороды, друг на друга не глядели.

«Чего уж там, – сказал хозяин, вставая, – давай провожу тебя».

**L Суд**День без числа<sup>3</sup>

География карательных, наблюдательных, исправительных, или как там их следует называть, учреждений ещё ждёт своего Страбона. В новой повестке стоял не Кузнецкий мост, а какая-то неслыханная улица. В отчаянии писатель думал, что его так и не оставят в покое.

Зато войти внутрь не составляло труда: никаких проходных, никто не спрашивает пропуск. Снаружи здание казалось не таким огромным. В действительности это был лабиринт. Плетёшься по длинным сумрачным коридорам, сворачиваешь в другие коридоры, поднимаешься на другой этаж, снова спускаешься, и всякий раз видишь в окнах на лестничных площадках другие улицы, если не вовсе другой район. Возможно, несколько зданий были соединены друг с другом. Писатель всматривался в таблички на дверях, на русском, но непонятном языке, толкнулся раз-другой наугад, там шли важные заседания, оттуда махали руками, требуя, чтобы ты не мешал. В другие комнаты вовсе невозможно достучаться. Изредка кто-то выбегает с озабоченным видом, с папкой под мышкой, служащие снуют по коридору, что-то показывают рукой на ходу, никто не отвечает на твои вопросы. Ты стоишь в замешательстве перед доской объявлений, здесь всё как обычно: инструкция на случай пожара, список злостных неплательщиков членских взносов, распределение путёвок.

Ты вошёл в зал, свет бил из окон, мешая с порога разглядеть сидящих за длинным столом на помосте под портретом правителя. Пятеро в масках, что навело на мысль о тайном судилище, шестой посредине, это был человек с голым черепом, на котором играли блики, с лицом скопца, в судейской мантии, наброшенной на плечи, – по-видимому, председатель. У торца сидел секретарь. Маски разных цветов были, как выяснилось, женщинами.

Публики не было, стояли ряды пустых стульев. Подойдя к помосту, писатель слегка поклонился. Подскочил секретарь, принял от него большую, свёрнутую в трубку и перевязанную шёлковой ленточкой, словно почётная грамота, повестку. Писатель сел в первом ряду.

«Я не разрешал вам садиться», – заметил председатель.

Он развязал ленточку, внимательно изучил повестку, развернул папку с делом и проверил установочные данные: фамилия, имя, отчество, год рождения и так далее. Прежние судимости?

Писатель не понял.

«Я спрашиваю, – терпеливо сказал председатель, – были ли вы раньше под судом».

«Нет».

«Неправда, – возразил председатель, – вы были репрессированы. Здесь имеется справка об освобождении. Вы были осуждены по статье...»

Он зачитал документ.

«Видите ли, это было Особое совещание. Так называемая тройка. – Писатель, стараясь улыбаться, процитировал Гоголя: – Не так ли и ты, Русь, что бойкая не-обгонимая тройка...»

«Семёрка», – поправил кто-то.

«Туз, – сухо сказал председатель. – Попрошу отвечать на вопросы. Итак, вы были судимы».

«Заочно. Решение принималось по списку, а осуждённому предъявляли бумажку, надо было только расписаться».

---

<sup>3</sup> Гоголь.

«Это известно, можете не объяснять. Правда, карточный термин слышу впервые... Но как бы то ни было! Это были другие времена, и незачем вспоминать», — заключил человек в мантии, упустив из виду, что он только что спрашивал о них. Он захлопнул папку, склонил блестящий череп направо и налево: будут ли вопросы к подсудимому?

«У меня вопрос, — сказала чёрная маска, крайняя слева. — Как по-вашему, что самое главное в жизни?»

Писатель развёл руками. Надо бы ответить, подумал он, любовь к родине.

«Литература, — сказал он и тут же пожалел, вспомнив, что всё, что не разрешено, запрещено. — То есть... я хочу сказать... — он запнулся. — А вы как думаете?»

«Вопросы задаём мы, — сказал председатель. — В виде исключения я отвечу. Самое главное — это любовь».

«К родине», — добавил писатель.

«Оставим политику. Просто любовь. Не правда ли?»

Маски дружно закивали.

«Прошу», — наклонил голову председатель.

Чёрная маска заговорила:

«С вашего позволения, я начну с мелкого, но, на мой взгляд, характерного факта. Всякий раз, когда он бывал у меня, а это происходило каждый день, он залезал с ногами на диван. Мне надоело напоминать ему, что я на этом диване сплю... Это первое. Во-вторых, когда я ему что-нибудь рассказывала, он смеялся надо мной. Например, был случай, когда мне нанёс визит мой дальний родственник, Козлов. Это была купеческая семья, с которыми породнились Тарнкаппе. Между прочим, название переулка...»

«Ясно. Но суд рассматривает вопрос о любви».

«Вот именно! Речь идёт о любви... Когда я ему рассказала об этом визите, он заявил... — маска всхлипнула, — заявил, что всё это мне приснилось!»

«Успокойтесь, — мягко сказал председатель. — Мы вас слушаем».

«Я его любила. Как сына, как внука... И вот такой ответ. Я вам скажу, в чём дело... — Шёпотом: — Вы не поверите. Он любил другую женщину».

«Кого же?»

«Девушку в бокале шампанского. У меня была картина одного немецкого художника...»

Голый череп председателя повернулся к секретарю:

«Надо эту девушку вызвать».

Секретарь, вполголоса:

«К сожалению, невозможно. Это картина».

«Так, — сказал председатель. — Свидетельница показывает, что у вас была связь с нарисованной женщиной. Что вы на это скажете?»

Что можно было на это ответить? Сумасшедшая.

«Я бы всё-таки хотел, — сказал писатель, — чтобы всё было по закону. Почему мне не выделили защитника?»

«Ваша просьба отклонена. Адвокату здесь нечего делать. Ведь приговор, — добавил, улыбнувшись, председатель, — по существу уже вынесен».

«Как это, вынесен. Зачем же тогда вся эта канитель?»

«Бестактный вопрос. Я бы сказал, оскорбительный для суда. — Человек в судейской мантии молча, подняв брови, смотрел на подсудимого. — Не ожидал от вас, — сказал он. — Чтоб это было в последний раз!»

Он обратил взор на другой конец стола. Красная маска заволновалась, послышался хриплый прокуренный голос.

«Чистая фантазия. А если начистоту, я эту ведьму знаю. Картина такая, действительно, была. Порнографическая картинка, прямо скажем. Но дело-то в том, что...»

«Что вы можете сказать о подсудимом?»

«Я его любила, а он оказался неблагодарной свиньёй».

«Так я и знал, – пробормотал писатель. – Никто тут не скажет обо мне доброго слова... вы специально их подобрали».

« Попрошу не перебивать свидетельницу».

«Я его приютила, хотя это было опасно. Люди-то, сами знаете, какие, я имею в виду соседей. Нагрянет милиция, и что я скажу?»

«Ты же говорила, – не выдержал писатель, – что начальник милиции тебя знает. Это я тебя предупреждал, а ты только смеялась... Она не меня любила, а мой... пардон... – Писатель похлопал себя внизу. – Она приучила меня к наркотикам... А потом бросила!»

«Я? бросила?!.. А ты забыл, что было с Алексей Фомичом?»

«Кто такой Алексей Фомич?»

«Это её содержатель. Комсомольский руководитель высокого ранга».

«Фамилия? Надо вызвать его», – сказал, отнесясь к секретарю, председатель.

«Поздно! Нет моего дорогого Алексея Фомича. Это он его убил! Убил, а сам смылся. Мне пришлось отвечать...»

«Да как ты смеешь!..»

«Предупреждаю, если вы ещё раз позволите себе перебивать...»

«Что? что вы можете со мной сделать? – плача, выкрикнул писатель. – Со мной уже всё сделали... Проклятая жизнь, – бормотал он. – Проклятая страна...»

«Если вы ещё раз... Вы будете выведены из зала».

«Х-ха. Сделайте милость!»

«Заседание продолжается, – выдержав паузу, величественно сказал председатель. Писателю: – А вам советую выбирать выражения. Проклятая страна... как это у вас язык повернулся сказать такое!»

Последние лучи солнца блестели на его черепе. Он обратился к зелёной маске:  
«Ваша очередь».

Маска молчала.

«У вас есть претензии к... этому господину?»

Она кивнула.

«Пожалуйста».

«Я женщина. Баба, по-простому говоря».

«Так. И... и что же?»

«Ничего», – сказала зелёная маска.

«Мы вас слушаем, – мягко сказал председатель. – Вы хотели что-то сказать суду. Что вы хотели сказать?»

«А то, что не каждому такая баба достанется».

«Вы хотите сказать – такая, как вы? Он вас не оценил?»

«Он ходил в деревню. Ко мне ходил, ночью».

«Как, будучи заключённым?»

«Он был бесконвойный. Ну и пользовался, что никто не видел».

«Следовательно, ещё одно грубое нарушение закона. Внесите, – сказал председатель секретарю, – соответствующее дополнение в обвинительное заключение... Продолжайте, мы вас слушаем».

«Да я не о том. Вот он, значит, ходил ко мне в деревню».

«Как называется ваша деревня?»

«Кукуй».

«Красивое название, – сказал председатель. – Далеко?»

«Что далеко?»

«Далеко ли он ходил к вам?»

«Недалече. Вёрст восемь будет. А ночи были чудные, звёзды, словно брильянты, глаз не оторвёшь!»

«Вы очень поэтически выражаетесь... Если я вас правильно понял, вы чувствуете себя оскорблённой. Чем он вас обидел?»

«Ради этого только и ходил».

«Ради того, чтобы любоваться ночным небом?»

«Люди не видали, а Бог всё видит», – сказала маска, и все согласно закивали.

«Хгм... – Председатель суда прочистил голос. – Итак?»

«Это бывает, у некоторых душевнобольных, – заметил писатель. – Когда они слышат голоса, и все их в чём-то обвиняют, ругают...»

«Это вы о свидетельнице?»

«Да при чём тут свидетельница. Я хочу сказать, это бывает. Но я ведь не сумасшедший».

«Если бы он любил, – лепетала маска, – а у него только одно на уме... Придёт, и сразу – давай, ложись».

«Вы хотите сказать... э?»

Маска не слушала.

«Я-то была... какая я была, о-ох! Да на меня заглядеться можно было! Глаз не оторвёшь! Молодая, ядрёная. Шея как у царевны-лебеди. Груды белые, круглые, в руки возьмёшь – словно пышки. Словно мне семнадцать лет, а соски как у зрелой бабы, словно вишни, высокие, сладкие... Вот здесь, – маска показала на талию, – тоненькая, как девушка, а бёдра! Широкие, пышные, и передница, и задница, прости Господи, да ведь только Бог один может такое создать; а самая-то сладость, она внизу, она не видна. Нежная, розовая, глубокая – пропадёшь!»

Председатель снова откашлялся.

«Вы... – проговорил он, – ближе к делу, ближе к делу...»

«То ли ещё бывало... Мы с ним и в баню ходили. Сама для него топила».

«Что за чушь, – пробормотал писатель, – какая там баня, это уж ни в какие ворота не лезет...»

«Чего там говорить, – неожиданно спокойно сказала маска. – Бросил он меня. Попользовался и бросил. А я уже была чижолоя».

Наступило молчание. Председатель взглянул на секретаря, тот показал на нетерпеливо ёрзавшую розовую маску.

Послышался слабый голосок:

«Я... я хочу тоже сказать...» – и она расплакалась.

«Деточка моя, – ворковал председатель, – ну полно, полно... успокойтесь. Мы вас внимательно слушаем».

Маска хлюпала носиком поднесла к глазам под маской скомканный розовый платочек.

«Он нанёс мне жуткое оскорбление!»

«Ага, – оживился председатель, – какое же оскорбление?»

«Мне стыдно», – пролепетала она.

«Не надо ничего утаивать. Расскажите всё суду».

«Мы вместе учились».

«В университете, если не ошибаюсь?»

«Да. Он за мной ухаживал».

«Та-ак... и что же?»

«Ухаживал, ухаживал, и... и ничего. Сколько можно ждать? – закричала она. – Я спрашиваю!»

«Чего ждать?» – не понял председатель.

«Как это, чего! Вы что думаете, я первая должна?.. У меня есть гордость! Сам должен знать!»

«Простите, кто? Кто должен знать?»

«Он! Он мою девичью гордость оскорбил. Мою стыдливость. Я же не бревно! Я хотела ему принадлежать. А он? Он даже ни разу меня не обнял!»

«Неправда, – неожиданно войдя в зал, сказала девушка по имени Аглая. Она была без маски. – Он только делал вид. На самом деле он был влюблён в меня!»

«Ты? – вскричал писатель. – Как ты сюда попала?..»

«Позвольте, позвольте... – лепетал председатель. – Попрошу к порядку!»

«Минуточку, я сейчас всё расскажу», – сказал писатель.

«Нечего рассказывать. Он был недостоин моей любви».

«Вот: это она. Она стучала на меня!»

«Идиот, тебе это приснилось».

«Наденьте маску. И сядьте», – сказал секретарь.

Она возразила:

«Пошёл ты, знаешь, куда?» И больше её не было.

«Есть ли ещё вопросы?» – осведомился председатель.

Никто не откликнулся.

«Слово предоставляется...» – он покосился на последнего свидетеля, это была полосатая маска, крайняя слева. Она не дала ему закончить.

«Совсем заклевали парня!»

«Так ему и надо», – заметил кто-то.

Главный судья спросил:

«Вы были с ним в связи?»

«Ну, была, – сказала маска, поправляя на лице съезжающую маску. – Плохую дали», – пробормотала она.

«Простите?»

«Маску, говорю, никудышную дали...»

«Мы вас слушаем», – мягко сказал председатель.

«Не знаю... рассказывать, что ли. Али нет?»

«Говорите, говорите!»

«Он приехал. А кто такой, никто не знает. Ну, живи, коли приехал... А на самом-то деле, оказывается, сбежал».

«Сбежал, откуда?»

«А бес его знает. Должно, от суда спасался. В бегах».

«Так. Мы это выясним. Продолжайте».

«У Колбасовых жил, на огородах. Я с ним и спозналась. Вот он и стал меня уговаривать: давай, говорит, убьём старика, Егория Петровича, а дом продадим. Я, как дура, уши развесила».

«Вы стали его сообщницей?»

«Да какая там сообщница. Я его любила, а он...»

Председатель барабанил пальцами, переглядывался с секретарём. Тот делал отчаянные знаки, стучал пальцем по ручным часам.

Председатель вознёс голову, возвестил:

«Слушание дела откладывается в виду вновь открывшихся обстоятельств!»

Тут он увидел, – все увидели, – на скамьях для публики сидит ещё кто-то. Белая, как снег, маска поднялась и зашагала к столу.

«Наше время истекло, – сказал председатель, – вы имеете что-то добавить?»

Маска медленно сняла с себя маску, и все увидели, что лица под ней нет. Что же там было? Ничего.

«Нет! – завопил председатель суда и попытался встать с места. – Кто разрешил? Кто она такая? Я не приглашал. Немедленно вывести. Здесь не театр! – кричал он, отбиваясь от удерживающих. – Здесь не сумасшедший дом!..»

Началась суматоха, маски повскакали с мест, председатель лежал на полу между стульями, закатив глаза, и кто-то делал ему искусственное дыхание. Публика, которую не пускали, вломилась в зал, и всё смешалось.

## **LI Unzeitgemäße Betrachtungen<sup>4</sup>. Литература как способ покончить с собой**

Снова день без числа.  
Вероятно, после 70-х годов.

### **1**

Поистине странное свойство литературы, чтобы не сказать – коварство, состоит в том, что всё, в том числе и мысли о литературе, она превращает в материал для самой себя. Весьма тривиальная мысль, но надо было, думает он, добраться до неё самому.

Литература делает сочинителя похожим на паука, который вытягивает из себя нить, откуда не израсходуется весь до конца, и вот висит, покачиваясь на ветру, иссохший, прозрачный, посреди своей сети.

Или он становится похож на того царя, наказанного за жадность, у которого всё, чего бы он ни коснулся, превращалось в золото, и он умирает голодной смертью. Литература – это эрзац самоубийства.

Писатель поймал себя на том, что в этих размышлениях есть нечто утешительное. И что разглагольствовать о литературе много приятнее, чем писать.

Лёжа на раскладушке, как Марк Аврелий в солдатской палатке, он предаётся философским мечтаниям и чувствует себя, надо признаться, чрезвычайно уютно. Можно оценить преимущества своего положения: никто больше не покушается на его одиночество, никто не спрашивает документов, и никто не гонит на работу. Он вспомнил, что где-то читал о том, что обезьяны умеют говорить, но молчат, чтобы люди не заставили их работать. Умницы! С точки зрения социалистической морали он был тунеядцем. Тем не менее участковый оставил его в покое. Начальство забыло. Тишина и удобная поза настроили на возвышенный лад; мысли текли, как спокойный ландшафт перед глазами путешественника, он даже задремал на короткое время, не переставая, однако, размышлять; и если не решался, в силу известного суеверия, назвать себя счастливымчиком, то, по крайней мере, понимал, в чём состоит счастье, одинаковое для улитки и человека. В том, чтобы, отряхнув всё внешнее и ненужное, обрести убежище в самом себе. Или, что то же самое, в идеальном представлении о литературе.

Литература превращает всё что угодно, политику, историю, религию, мораль – в средство. В средство для чего? Для себя, ответил он. Литература срезает на корню, как срезают гриб, чтобы бросить его в лукошко, любые догмы и верования. Ко всем этим ужасно серьёзным вещам она относится так, как женщины относятся к разговорам о высоких материях: ведь обыкновенно женщин гораздо больше занимает, кто говорит, и как говорит, и какие чувства он при этом выражает, чем сами идеи и мнения. В этом заключается её радикальная безответственность; литература подотчётна чему-то другому: самой себе.

Литература предстала перед ним чуть ли не платоновской идеей. Некая вневременная сущность, одетая в текст. То, что мы сочиняем, – её более или менее несовершенные воплощения.

---

<sup>4</sup> Несвоевременные размышления (*Ницше*).

## 2

Он и сам, без сомнения, заметил, что переселился со своим скарбом в собственный роман. Будь он женат, он захватил бы и жену, а так приходится тащить с собою любовниц. Так он сделался персонажем призрачного зазеркального мира.

В этом мире слов и фраз он ведёт себя так же, как вёл бы себя в действительном мире: он влачится по воле обстоятельств и, как это свойственно слабым натурам, время от времени бунтует – таковы его «побеги». Но каждый такой побег есть не что иное, как попытка уклониться от обстоятельств, вместо того чтобы встретить их лицом к лицу. В сущности, это бегство от жизни.

Само собой, ему хочется верить, что если он не находит себе места в обществе, то виной этому гнусное общество. Виноват, однако, он сам – в том, что он не нашёл в себе мужества подняться над ним, каким бы ни было это общество.

Его неудачи – очевидное следствие его бесхарактерности. Он прав, называя себя «некто». Такие люди бывают упрямы, вот почему он долбит своё – пишет, пишет, и всё без толку. Да, таков он, этот герой, с его желеобразной, как студень, биографией.

Отсюда зыбкость его самосознания. Этот Некто чувствует себя неуверенным; избегая местоимения «я», предпочитает обращаться к себе от имени Другого и больше всего любит говорить о себе в третьем лице. Погружаясь в сумерки своего сознания, он теряет границу между кем-то другим и самим собой. Поистине есть что-то раздражающее в этом отсутствии твёрдой почвы; всё повествование становится ненадёжным. Вывод неутешителен: абсолютной, незыблемой и несомненной действительности в его романе, как в кабинете зеркал, не существует.

## 3

Вместо того чтобы отдаться своему воображению, он дрессирует его, и оно, как учёный медведь, покорно проделывает все штуки, каких ждут от него. Вместо того чтобы честно воспроизвести свои сны, он подправляет их, не слишком заботясь о верности своих имитаций. Он раб своего интеллекта, который «лучше знает», что такое сон, и диктует свои указания воображению.

Подсознание, едва лишь он пытается его осознать, становится артефактом; сон денатурируется, как белок под воздействием кислоты, едва только, пробудившись, ты спешишь зафиксировать его на бумаге.

То-то и оно, что все попытки отказаться от вмешательства разума напрасны, ибо мы не в состоянии обойти его алгоритм – грамматику; мы не можем выразиться иначе, как при помощи языка; автоматическое письмо – сапоги всмятку; «поток сознания» оборачивается всё той же литературой; задача преодолеть деспотизм грамматики внутри самой грамматики и освободиться от контроля рассудка, не теряя рассудка, – кажется неразрешимой.

Психоделик, о котором – о, как давно это было, – рассказывала Валентина, которым однажды, один-единственный раз, угостила (опыт, впоследствии вычеркнутый из романа), не освободил его от сознания, но лишил обособленной личности и разрушил привычные связи между вещами. Это не был тот дивный сон, который она обещала любовнику, и не рай, воспетый Бодлером, но какое-то особое бодрствование. Бывший заключённый, он воспользовался привычной метафорой: сознание вышло на волю из тюремной камеры своего «я». Это было внеличное сознание, присущее разве только божеству. Возможно, и она переживала на свой лад нечто подобное.

В этом состоянии они любили друг друга; комната превратилась в подвал без стен, в трюм океанского корабля, где плескались волны; возлюбленная отождест-

вилась со снадобьем, он – с действием снадобья; она стала мужчиной, сам же он ощущал себя огромным влагалищем; он лежал внизу, на дне корабля судеб, до отказа заполненный ею, закупоренный огромным фаллом; но фаллом был и он сам; она находилась внутри, но и он каким-то образом оказался внутри, – разрешение не наступало, и они лишь измучили друг друга.

#### 4

Нетрудно заметить, что, пытаясь оправдать свою бесхребетность, он ищет и находит алиби: это – «эпоха». Он чувствует, как зловонное дыхание века обдаёт его прозу. Некогда, говорит он себе, герой романа был субъектом истории, а теперь он лишь её жертва. Смешно и подумать о том, чтобы противостоять абсурду: мутный поток истории сбивает повествователя с ног. Романист прыгает по камням, мечтая добраться до берега, – тщетная надежда!

В чём же, спросил он, оправдание твоей разлохмаченной жизни, в чём её смысл? В литературе? Он пожимает плечами. Может быть, в любви? Ответа нет. И он задаёт себе (правильней сказать – тому, другому, сибариту на соломенном тюфяке) нелепый вопрос, был ли он достоин женской любви.

Как выглядел он в глазах женщины? Худой, костлявый – вызывает сострадание. Скрывающий своё прошлое – пробуждает любопытство. Высокий, выше среднего роста – что даёт основание рассчитывать на большой член. Неловкий, робкий, стеснительный, не умеет подать себя, не в силах себя защитить, ничего в жизни не добился. Пробуждает материнские чувства. Из тех, кто, сам того не ведая, ждёт, когда им завладеют.

#### 5

Только что ты сказал: мы любили друг друга; двусмысленное выражение. Как ров с водой и стены окружают рыцарский замок, так замок любви защищён от того, что обозначается этим же словом, но – вовсе не любовь. Таково противостояние любви и секса в осаждённой душе подростка. Но оправдывать платоническую любовь, когда тебе пошёл уже который по счёту десяток? Любить состояние влюблённости, а не ту, кто стала твоей избранницей?

Он вновь расписывается в своём безволии. В своей трусости. Ибо что же иное боязнь совокупления, как не бегство от жизни?

Любовь, думает он (и вспоминает увлечение глупенькой Наташей), это смесь поклонения и страха: поклонения девической прелести и страха соединиться с ней. Можно было бы сказать, что любовь – это избирательная импотенция. Означает ли это, что, *vice versa*, отвага, с которой мужчина овладевает женщиной, выдаёт недостаток любви? Мы во власти мифа, в каком-то смысле необходимого для мужской души и который кастрирует мужчину психологически, – мифа женской неприкосновенности и возвышенной чистоты. Любовь, говорит он себе, – это смесь поклонения и боязни оскорбить любимую покусанием на её плоть. Итак, ничего не изменилось со времён Платона, вновь и вновь мы противопоставляем небесную Афродиту площадной, мечту и плоть, верх и низ.

Эти женщины, думает он (и вспоминает «суд»), воображают, будто они живут собственной жизнью; попробуй-ка возразить, что они существуют лишь в твоём воображении; но, в конце концов, и сам я, не правда ли, – плод моего воображения. Эти женщины правы; в сущности, это была всегда одна и та же женщина, которая хотела одного и того же – невозможного: чтобы её любили «не просто так», а в постели, но и не просто хотели с ней переспать, а чтобы это была любовь; развести любовь и соитие она не могла. Оттого ли, что женщина – цельное

существо, в противоположность мужчине? Оттого ли, что двусмысленность, игра в прятки, искусство обнажиться, оставаясь одетой, – главная черта её природы? Или, наконец, оттого, что эта двусмысленность, двуязычие жестов, улыбок, взглядов не противоречит её цельности? И когда оказывается, что примирить ангельское и зверское невозможно, она воспринимает это и как надругательство над чувством, и как унижение плоти. Высшая тайна любви оказывается вполне банальной. Но стоит только её разоблачить, как банальность оборачивается – тут он вспомнил Машу, и ночную дорогу в лесу, и сверкающий ковш Медведицы – тайной.

## 6

Суд, происходивший на самом деле, то есть в романе, заставил его задуматься, удалось ли ему взглянуть на женщин их собственными глазами. Недостижимая цель литературы – ведь для этого нужно было отказаться от собственного языка. От того языка, которым мы только и располагаем. Есть ли у женщины собственный язык? Всё, что рассказывается в романах, рассказывается мужчиной, а если рассказывает женщина, то и она пользуется мужским языком. Означает ли это, что женщина непознаваема? Или – что она говорит языком, который вовсе не язык и подобен сновидению, где всё подчинено абсурдной логике, где смысл бессмыслен и всё пронизано не поддающимся описанию чувством? Или её попросту нет? Только ради Бога, никакой мистики. Будем довольствоваться как рабочей гипотезой презумпцией её существования. Будем считать, что мы имеем дело лишь с ролями – матери, любовницы, куртизанки, – которые она разыгрывает перед зрительным залом мужчин. Романист, сказал он себе, может лишь подражать женщине, как артист на женских ролях, как ловчий свистит голосами птиц.

Он вспомнил первое в его жизни столкновение с этой загадкой: то была девушка в бокале шампанского. Поразительно, что она сразу явилась тебе во всём своём естестве. Нагота не должна была оставить никаких секретов. На самом деле – теперь он это хорошо понимает – она-то и захлопнула перед ним врата тайны. «Comment la trouvez-vous, cette peinture?» Как тебе нравится эта картина? Что он мог ответить? Впервые она заставила мальчика почувствовать, что здесь «что-то не то». Другими словами, почувствовать себя – до всякого вождения – мужчиной.

Ему пришло в голову, что если при каждой встрече с незнакомой женщиной его мозг мгновенно, как при вспышке магния, фотографировал сцену обладания, то смысл этого обладания можно переписать иначе: он искал поселиться в ней. То, что именовалось жилплощадью, во имя которой сражались всю жизнь, было не чем иным, как женщиной! И расплатой за право жительство был он сам, точнее, фаллос, его единственное богатство. Ему вспомнилось, как, бездомный и бесправный, в лагерном одеянии, он явился на старую квартиру, и его встретила Валентина. Вспомнилось и тёмное осеннее утро в тот день, когда им предстояло отправиться на поклон к всемогущему Алексею Фомичу, и как, нежась в постели, она жадно разглядывала этот предмет, эту его суть, играла с ним, словно кошка с мышью перед тем, как насладиться своей добычей. Значит, любовь – это кража? Его подруге хотелось в буквальном смысле слова похитить его член, сделать так, чтобы он навеки остался в ней, и наслаждение плоти, наслаждение властью хозяйки своих хором, собственницы и госпожи, не прерывалось бы никогда.

Любил ли он её в самом деле? На первый взгляд, то же повторилось и с Машей. Он был из тех мужчин, которые ищут убежища. Каким счастьем, блаженным концом блужданий казалось – войти с мороза, захлопнуть тяжёлую дверь, сбросить своё рубище и лечь, и накрыться с головой, и обнять любимую женщину, единственную, наконец-то обрётённую, и поселиться с ней в тёплой, тёмной избе, и забыть всё на свете!

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

## LII Вне всякого сомнения новые времена

16 мая 1991

В одно прекрасное, нежно-перламутровое утро летописец отправился на вокзал встретить поезд, прибывающий с северо-востока. Отворились двери вагонов, усталые пассажиры запрудили перрон. Его толкали. Он покорно двинулся вслед за толпой.

О, теперь-то мы понимаем, как опасны посягательства на суверенность памяти, попытки диктовать ей, исправлять её ошибки. Обновлять прошлое? Какая это, в сущности, неаппетитная процедура – выволакивать мертвеца из могилы, с его фанерным чемоданом, в рыжих лагерных валенках, оставляющих мокрый след, – вон он, единственный среди живых: там, на вокзальной площади, протягивает трёшницу таксисту, чтобы тот не сомневался. Четверть часа комфортабельной езды по пустынному в этот час Садовому кольцу, и – и что же? На каждом шагу он уличал свою память в подделках и подтасовках: вошёл в подъезд, но это был не тот подъезд, нажал на кнопку звонка и услышал чужой, незнакомый звук.

Сколько лет прошло с тех пор... Всё изменилось. Многим кажется – наступила новая эпоха. И, однако, он выбрал всё тот же Курский вокзал, повинуюсь таинственному зову, который влечёт преступника на место преступления. Он ознакомился с расписанием пригородных поездов. Покинув вокзал, он высадился на станции метро «Кировская», и пожалуйста: название это доживает последние дни. Он свернул в переулок Мархлевского, там, где улица Кирова делает перегиб (в нашем городе прямых улиц не бывает), отыскал нужную вывеску и, войдя, спросил: кто такой Мархлевский? На что последовал лаконичный ответ: *х... его знает!*

Да, время обновилось. Время, как старый пиджак, перелицовано. Возлагал ли старый писатель на своё предприятие серьёзные надежды? Приходится признать: да, возлагал. Кто подал ему эту замечательную мысль? Не мог же он сам сообразить. Клиент извлёк из портфеля пухлый манускрипт. Пять экземпляров (для начала хватит). Нет, лучше восемь. Он получил восемь ксерокопий, вышло довольно дорого. Теперь в переплётную мастерскую.

На другой день он опять стоял у выхода на перрон, и опять это наваждение, поезд из Котласа, пассажиры выбирались из тесных вагонов, вытаскивали багаж; *опять, как в годы золотые,*<sup>5</sup> беспаспортный путешественник в национальном одеянии – ватном бушлате, вислых ватных штанах, рыжих валенках, ушанка на стриженной голове, – влачил перевязанный верёвкой чемодан, и бравый милиционер выудил его из толпы.

После чего аппарат остановился, и катушки завертелись в обратную сторону, время поехало вспять, толпа отшатнулась, и он с ней, пятясь, поднялся по ступенькам вагона, протискивался задом наперёд с чемоданом к своему месту, состав, толкаемый сзади локомотивом, набирал скорость. Пассажир лежал, качаясь, под потолком, на третьей, багажной полке, и оттуда показывал контролёру свою справку: *видом на жительство не служит, при утере не возобновляется,* и фотография каторжника, и лихие росчерки начальств. Кинематограф памяти негромко жужжал, крутились бобины, стрелки вращались на циферблате века, время уехало прочь, туда, откуда прибыл поезд; тёмным утром в бараке догорает тусклая лампочка над столом дневального, стриженные головы поднимаются на нарах, нарядчик

<sup>5</sup> Блок.

с доской учёта стоит в дверях, и загробный голос на столбе вещает о том, что Великий Ус отдал концы.

Усмехаясь, писатель-фантаст перешёл через подземный туннель на платформу пригородных поездов. О да, старый проектор века выброшен на свалку, историю спустили в сортир. Что бы мы делали, не будь этих канализационных труб, по которым, невидимые, плывут и пугаются нечистоты прошлого! Не стало больше ни бушлата, ни валенок бе-у: на тебе была шляпа, что само по себе говорит о многом. В пиджаке и несколько криво повязанном галстуке писатель был похож на отставного бухгалтера, на бывшего актёра из провинции, пожалуй, и на исписавшегося литератора. До Орехова-Зуева меньше двух часов; он думал воротиться в послеобеденные часы.

Занял место у окна в последнем вагоне. По утрам народ едет по большей части в город, а не из города, он надеялся начать поход в полупустом поезде, но из вокзального помещения повалил народ. Предприниматель ждал, когда рассосётся толпа, электричка неслась, оставляя позади пригородные платформы и полустанки, вереница пассажиров всё ещё тянулась между скамьями из вагона в другой вагон. Писатель стоял с сумкой через плечо у передней скамьи. Ну-с... — он прочистил горло. «Уважаемые граждане!» — начал он срывающимся от волнения голосом, доставая из сумки товар.

«Уважаемые пассажиры...»

Взять себя в руки. Смелее. Оптимистичней.

«Вашему вниманию предлагается новая книга, роман известного современного автора... — он назвал своё имя, — пока ещё не изданный. Эпохальное произведение о нашем трудном переходном времени».

Писатель вознёс над головой своё изделие. Пассажиры, уже привыкшие к вагонной коммерции, казалось, не слышали его речь. Лишь кто-то сидевший близко от входа, повернув голову, спросил: «Самиздат, что ль?»

«Зачем же самиздат? — сказал писатель. — Эти времена прошли».

«Ну это ещё как сказать, — откликнулся голос. — А ну, покажь».

Вот уже и первый покупатель.

«Остросюжетный роман, действие происходит в широком диапазоне времени... Читается захватывающе...»

Колёса стучали, неслись голые поля.

«Почём?»

«Что почём?»

«Сколько, говорю, хочешь за свой роман?»

Писатель, стесняясь, назвал цену.

«Ишь ты, — заметил пассажир, листая самодельную книгу. — Больно уж много вас тут...»

«Кого?»

«Много вас, говорю, развелось, — сказал пассажир. — Держи». Он вернул книгу и отвернулся к окну.

Продавец двигался между скамьями, размахивал книжкой, выкрикивал: «Широкая панорама истории нашей страны! Увлекательное чтение!» Кто-то окликнул его: «Папаш! А чего-нибудь повеселее у тебя нет?» Писатель возразил, что это труд всей жизни. «Агата Кристи есть?» Писатель никогда не слышал это имя. Нет, сказал он. «Ну и хрен с тобой». Так он прошёл всю электричку, пассажиры вставали, сходили, вместо них входили и усаживались другие; усталый, он присел на свободное место, сумка с нераспроданным товаром стояла у его ног.

Прогремел мост через реку, поезд замедлил ход. Остановились у пустынной платформы. Взглянув рассеянно в окно, он увидел табличку с названием остановки. Похоже, он был единственным, кто выбежал из вагона. Поезд мягко тронулся и покотился, поблескивая стёклами вагонов.

**LIII Князь и девушка**

16 мая, около полудня

Бор за эти годы изрядно поредел, погрязнул, окурки, жестянки, грязный целлофан валялись там и сям вдоль дороги. Посёлок разросся, и всё же писателю показалось, что тут мало что изменилось; он сказал себе, что это симптом старости, капитуляция перед прошлым; думаешь, что бредёшь по пустырям нового времени, а на самом деле это была всё та же оптика воспоминаний, нечто подобное обратной перспективе: отступая, прошлое становилось всё назойливей. Стало тепло, путник обмахивался шляпой. Наконец, он отыскал дачу.

*Знакомые, печальные места... Вот мельница. Она уж развалилась.*

Жалкое зрелище являл собой дом покойного Олега Двугривенного, окна заколочены посережними досками, крыльцо сгнило и обрушилось, кровля в ржавых заплатах. От штaketника мало что уцелело, и кругом всё заросло крапивой.

*Стал жёрнов – видно, умер и старик.*

Как вдруг показался кто-то, хозяин вышел из-за угла.

«Здорóво, мельник!» – смеясь сказал приезжий.

«Какой я мельник! Я ворон здешний!» – отвечал знаменитый литературный критик, но времена изменились. Теперь он был в длинной и неопрятной, сивой бороде, лыс, морщинист, в замызганной, с продранными локтями толстовке, коротковатых портах и разбитых ботинках.

«А ты – кто такой будешь?»

Писатель назвал себя. Бывший Олег Двугривенный изобразил напряжённую думу.

«Не помню. Зачем пожаловал?»

«Дедушка, мы ведь знакомы. Я у тебя был».

«Это когда же?».

«Я ещё роман свой приносил... помнишь?»

«Чего это ты меня на «ты» называешь?»

«Да ведь мы оба старики. Стало быть, не помните?»

«Может, помню, а может, не помню. Много вас тут было... Чего надо? Зачем пришёл?»

«Да, собственно, ни за чем».

«Ну и вали отсюда».

Разговор в этом роде продолжался некоторое время, после чего хозяин дачи сделал вид, что узнал, наконец, гостя, а может быть, и в самом деле вспомнил. Обогнув дом, пробрались с задней стороны в сени, писатель узнал деревянную лестницу, с потолочной балки свисал канат. Хозяин сбросил обувь и с непостижимой ловкостью вскарабкался наверх, ухватившись за канат, перебирая по ненадёжным ступенькам грязными ступнями с когтями вместо ногтей. Следом за ним полез приезжий.

«Прошу в кабинет».

Здесь по-прежнему стоял письменный стол и висел портрет. С этой стороны окна не были заколочены, пыльный солнечный свет прокрался в комнату. Гость окинул горестным взглядом весьма пострадавшую библиотеку.

Олег Михайлович робормотал:

«Растащили всё, гады...»

«Кто?» – спросил писатель.

«Да мало ли кто. Я и сам кое-что продал. Жить-то надо... Вот, – сказал старец, показывая на бумаги под слоем пыли. – Работаю, пишу мемуары... А ты вроде бы тоже... писатель?»

«Вроде бы».

«Ну и как?»  
«Да никак». Гость сидел на диване, поставив между ногами свою сумку.  
«Написал чего-нибудь?»  
«Чего-нибудь написал».  
«Новый роман?»  
«Не совсем. Вернее, всё тот же».  
«Автор одного произведения. Хвалю».  
Громко сопя, он занялся своей бородой, гладил, схватил в кулак, спросил:  
«По вагонам ходишь?»  
«Откуда вы знаете?»  
«Многие ходят. Кто торгует, а кто и просто побирается. До чего мы докатились. Это надо же. Какую Россию потеряли!»  
«Какую?» – спросил гость.  
Критик насупился.  
«Великую, вот какую. Великую державу. И великую литературу... Что там у тебя?»  
Писатель расстёгивал сумку.  
«А-а, – сказал критик разочарованно. – Я думал, пожрать что-нибудь...»  
«Может, сходить купить что-нибудь?»  
«Куда?»  
«Я видел магазин на станции».  
«Х-ха. В этом магазине – шаром покати. Как и повсюду, впрочем. Докатились».  
«Как же вы питаетесь?»  
«А? Как питаюсь. Да вот так и питаюсь. Дочка обо мне заботится. Я продал мельницу чертям запечным. А денежки отдал на сохраненье...»  
«Кому?» – спросил писатель.  
«Дочке, кому же. Это чьи же творения, твои, что ль?»  
«Я вам когда-то показывал...»  
«Когда это? А, ну да. Ещё до всей этой заварушки?»  
«Вы, как Фирс», – сказал писатель, продолжая литературный разговор.  
«А? Кто?..»  
«Фирс, у Чехова».  
«Ну и что».  
«Фирс говорит: перед несчастьем. Перед каким же это несчастьем? А он отвечает: перед волей».  
«Подавиться бы им всем этой волей... Как же, помню, помню. Это ты тогда ко мне приходил? Ко мне многие ходили. Нужен был, вот и ходили... Какая-то автобиография, что ли?»  
«Роман».  
«А, ну да. И что же, пристроил его куда-нибудь?»  
«Да вот он, – терпеливо сказал писатель. – Я его с тех пор переписал... кое-что добавил»  
«Это как же так получается. Это, выходит, всю жизнь потратил, писал свою книгу, а теперь никто и читать не хочет!»  
«Выходит, так».  
«Вот до чего дело дошло. В рот их туда-сюда. Всё просрали! Ещё Розанов писал: не осталось царства, не осталось церкви, что ж осталось-то? Ничего! А кто виноват?»  
«Не знаю. Никто».  
«А вот я тебе скажу. Они! Они всё и порушили. Либералы проклятые. Ведь это надо же! Была великая страна, весь мир нас уважал. Извини, – сказал старик, – я это, как бы сказать, поиздержался. Не одолжишь ли мне... заимообразно...»  
«Мы сейчас быстренько организуем, – бормотал Олег Михайлович, засовывая денежную бумажку глубоко в карман штанов, наклонился и вытащил откуда-то бу-

тылку. – Там ещё маленько осталось... – Явились и стаканы. – Только вот закусывать придётся, хе-хе, мануфактурой...»

«Ну-с, со свиданьем!» – сказал Олег Михайлович.

Выпили какую-то гадость.

«Ты не смотри, – продолжал он, – что я выгляжу не больно шикарно. Я тебе могу оказать содействие. У меня есть связи. Есть ещё порох в пороховницах. Знаешь что. Я за тебя похлопочу в нашем союзе».

Писатель спросил, что это за союз.

«Союз русских литераторов. Неужели не слышал?»

Писатель сказал, что он один раз в жизни состоял в союзе. Вернее, в поэтической студии. Давно дело было.

«А! ты, значит, ещё и поэт!»

Гость покачал головой.

«Мы издаём журнал, – сказал Олег Двугривенный. – Хороший журнал, солидный. Патриотический журнал. То есть пока ещё не издаём, но дело на мази. У нас самые лучшие силы, те, кто болеет за державу. Большие русские писатели».

«Например?»

«Например... Какие ещё тебе нужны примеры! Потерпи малость. Дай срок. Мы ещё своё возьмём. Всю эту сволочь поганую – под ногти! Вот так! Под ногти! Ну, давай ещё по одной».

«Что это за напиток?» – спросил гость.

«Хороший напиток, не волнуйся. Только им и живу».

Волшебное зелье было, по всей вероятности, плохо очищенным самогоном.

Возвращаясь, писатель сбился с пути. За деревьями блестела вода. Оказывается, здесь был пруд. Он раздвинул кустарник, спустился к берегу. Это было большое озеро.

Подул ветер, и закачались камыши. Рябь бежала по воде. Кто-то купался в озере. Пошли круги, вынырнула мокрая девическая голова, показались худенькие плечи, ключицы, тёмные соски, она встала по пояс. Девушка из бокала. Путешественник разинул рот. Почти непроизвольно, повинувшись действию любовного напитка, он двинулся к воде и тотчас провалился в прибрежный ил.

*Откуда ты, прекрасное дитя?..*

#### **LIV Урок политической экономии. Главное – оставаться оптимистом**

16 мая

Зуево, ху...во, думал он, выходя. Народ спешил мимо. Коммерсант стоял с сумкой за плечами на опустевшем перроне. Его окликнули:

«Гражданин писатель!»

Услыхав такое обращение, ты невольно поёжился. Некто спешит навстречу, словно поджидал тебя.

«Гражданин писатель... можно вас на минутку?»

В чём дело, спросил приезжий.

«Вы, как я слышал, продаёте сочинения».

«У меня только одно сочинение, – возразил писатель, – хотите купить?»

«Мы вернёмся к этому вопросу», – ответил человек уклончиво. Он попросил разрешения представиться, осторожно осведомился: а вас как?

Романист смотрел на диск вокзальных часов. Обратный поезд уже стоял на соседнем пути. Как, воскликнул человек по имени Яков, – можно просто Яша, пояснил он, – вы уже возвращаетесь; по-моему, не стоит торопиться.

«А я думаю, стоит. Следующий будет только через два часа».

«Орехово-Зуево очень интересный город, – сказал Яша. – Красивый город».

«Орехово-Зуево меня не интересует», – сухо сказал писатель.

«Жаль. Я всё же попросил бы вас задержаться... ненадолго. Есть небольшой разговор. – Он добавил: – На коммерческие темы».

Писатель поплёлся следом за человеком к зданию вокзала. Вы, наверное, здесь никогда не были, говорил Яша, между прочим, этому городу не то триста, не то четыреста лет. Тут когда-то жил фабрикант Савва Морозов, слышали про такого? Они вошли, но не через главный вход, а в дверь за углом, где в небольшой комнате на двух скамьях ожидала компания, человек пять. Писатель попятился.

«Ну что вы, – сказал Яша, – вас никто не тронет. Поверьте, мы не грабители. Мы все здесь такие же, как вы... Присаживайтесь».

Писателя познакомили с Натальей Викторовной, попросту тётей Наташей, родственной дамой, на вид не меньше сорока, не больше шестидесяти, в вязаной кофте болотного цвета и просторной тёмной юбке.

«Ты бы сбегал за...» – отнеслась она к Якову.

«Яволь. Айн момент», – сказал Яша по-немецки и явился через несколько минут с харчами и пивом.

Две скамьи были сдвинуты навстречу друг другу, на одной разложили бумагу с докторской колбасой, нарезали толстыми ломтями батоны, открыли две банки бычков в томате, расставили бутылки и картонные стаканчики. Тётя Наташа как старшая уселась подле импровизированного угощения, тут же посадили писателя, остальные расположились на другой скамейке.

Отворилась дверь, показалась блинообразная милицейская фуражка с новеньким латунным орлом.

«Афанасий Ильич, вы в самый раз, – промолвила тётя Наташа, – выпейте с нами за компанию».

Афанасий Ильич постоял, помолчал. Затем, приосанившись, принял из её рук полный стакан пенящегося напитка. Бодро опорожнил, прожевал ломоть хлеба, щедро нагруженный колбасой, утёр усы, напомнил:

«Распитие спиртных напитков в помещении вокзала строго воспрещается».

«Яволь», – откликнулся Яша, и милиционер удалился. Пир продолжался, руководила тётя Наташа, как выяснилось, актриса.

«Бывшая», – уточнила она.

«Вы больше не играете?» – спросил писатель.

«В некотором смысле нет, в некотором смысле да. У нас, знаете ли, всё стало театром. А вы, значит, посвятили себя литературе?»

В некотором смысле, отвечал писатель.

«Можно взглянуть?.. Хм, – проговорила она, – я думаю, это вам дорого обошлось. В смысле, бумага и прочее. Перепечатка тоже, наверно, недёшево стоила».

«У меня своя машинка».

«Вот как. Я вижу, вы состоятельный человек».

«Да какое там».

Тётя Наташа выразила понимание.

«Ксерокс, переплёт – кто вам всё это делал?»

«На улице Мархлевского... может, знаете».

«Слышали».

«Жутко дерут», – заметил кто-то.

Наталья Викторовна проговорила:

«Как всё-таки всё изменилось. Ведь ещё совсем недавно, копировальный аппарат, Господи Боже! Всё было за семью замками».

«Запросто срок можно было схватить», – подхватил кто-то.

«Да, мы, можно сказать, свидетели великих событий... Извините за нескромный вопрос. Окупить расходы вам, по крайней мере, удалось?»

Писатель покачал головой.

«Ничего удивительного. Ведь правда?» – она оглядела коллег. Компания помалкивала, сосредоточенно доедала яства, допивала питьё.

«Вы, как я понимаю, новичок».

«В литературе?» – спросил писатель.

«При чём тут литература – я имею в виду торговлю».

Романист сделал неопределённый жест.

«Не буду вас мучать загадками. Мы тут все торговцы. По разным причинам – вы меня понимаете – оказалось, что добывать таким способом средства на пропитание всё ж таки легче, чем по своей специальности, а у многих ещё к тому же семья... Я вот, например, двадцать лет проработала в разных театрах, и в провинции, и в Москве, здесь, между прочим, в зувском районном театре, начинала. Уже и амплу успела два раза сменить. Пока мне не пришла в голову, как говорится, счастливая идея. Вам, очевидно, тоже».

«Мне посоветовали», – сказал писатель.

«Поздновато, пожалуй... Вам не кажется?»

«Пожалуй».

«Вы, опять же прошу прощения, женаты? Дети, внуки?»

Он отвечал, что живёт один.

«Ваше счастье. А мне сына надо устраивать в институт, а то ещё, не дай Бог, в армию загремит. И дочку поднимать надо. Я одна обоих растила... Но зато мне моя профессия очень помогла. Коммерсант, я вам скажу, должен быть актёром, иначе дело не пойдёт... И людей удалось подобрать, я хочу сказать: коллег по общему делу. Они на меня не в обиде, ведь правда?»

Компания дружно закивала. Яша сказал:

«На вас, тётя Наташа, можно сказать, всё держится».

«Ну, не всё, но как-то дело идёт. Кое-какие связи удалось завязать. Без связей, дорогой мой, тут и трёх дней не выдержишься...»

«Вы тоже продаёте литературу?»

Наталья Викторовна обвела компанию ироническим взором. Кто-то хихикнул.

«Так вот, если вернуться к нашему разговору... У вас довольно толстое произведение. Почему вы его не опубликовали обычным способом, как все?»

«Не все».

«В конце концов, у нас сейчас свобода, пиши что хочешь».

«Я всегда писал что хотел».

«А, понимаю. У меня был один знакомый, всю жизнь писал в стол...»

«А теперь?»

«Теперь? Он умер, не дождался... Короче говоря, что я хочу сказать. Напечатают или не напечатают, это ещё бабушка надвое сказала, ведь правда? А если ещё к тому же ваш роман не обещает прибыли...»

«Не обещает».

«Вот видите. Ну что ж, – сказала она, подумав немного и переходя на ты, – давай, куплю у тебя, пусть это будет твой первый проданный экземпляр. Не знаю, конечно, может, и не стоит читать, а? Сам-то ты, кажется, не очень уверен... Сколько с меня?»

Писатель робко назвал цену. Мне советовали, объяснил он.

Тётя Наташа усмехнулась.

«Кто это тебе советовал? – Она отсчитала бумажки, романист сунул выручку в карман. – За такую цену вряд ли у тебя найдутся покупатели. Ты о конъюнктуре хоть какое-то представление имеешь? Это же рынок».

«Я тоже подумал, может быть, надо...»

«Рынок, дорогой мой! Не фунт изюма. Будущее покажет, если, конечно, ты здесь удержишься. Так вот, собственно говоря, об этом мы и хотели с тобой по-

толковать... Ты человек интеллигентный, мои люди сразу это заметили, не хам, не рвач. И, конечно, извини за резкость, полный идиот... Так что придётся тебе объяснить азбуку нашего дела. Коммерция есть коммерция».

«Это верно», – уныло сказал романист.

«Ты слушай, что тебе говорят... В одиночку, дорогуша, работать никак невозможно. У нас теперь, конечно, капитализм, каждый может делать что хочет. Только вот не каждому позволено. Если тебя сегодня не ссадила с поезда милиция, то это твоё счастье. Торговля в поездах, да будет тебе известно, считается незаконной. Штраф как минимум. А можно и срок схлопотать».

«А как же тогда...»

«Прошу не перебивать. Да, штраф. Да ещё и по шеям надают. А другой раз попадётся – под суд. Но это пусть тебя не беспокоит. Ты мента этого видел, Афоню нашего, Ильича? Я ему скажу пару слов. А он поговорит с кем надо. Это не главное. Ты об уголовном мире имеешь представление?»

«Я вообще-то сидел», – объявил неожиданно приезжий.

«По бытовой статье?»

«Нет, пятьдесят восьмая. Давно было дело».

«Ну, всё равно. Я что хочу сказать? Ведь тебя же моментально наколют. Сегодня сошло, завтра сошло, а потом подойдёт к тебе такое рыло – конечно, не в вагоне – поговорить – и никуда не денешься! Отнимут товар, отнимут выручку, это ещё самое безобидное... Чуешь, к чему я клоню? Нужна профессиональная солидарность».

Она взяла бутылку, встряхнула.

«Допивай. Нехорошо оставлять. У нас тут, – тётя Наташа показала на коллег, – пока что, слава Богу, всё в порядке. Ты платишь мне, я расплачиваюсь с бандитами. Только уговор: ничего не утаивать. Идёт?»

«А если ничего не продам?»

«Значит, и платить нечем. Очень просто. А вообще, если появятся какие-нибудь вопросы, обращаться к Якову. Он у нас доцент, бывший завкафедрой – в Челябинске, если не ошибаюсь?»

«В Свердловске», – сказал Яша.

«Ты, я тебе скажу, – продолжала Наталья Викторовна, – ты не тушуйся. Коммерция – это такое дело, это как погода. Начинаешь, вроде бы ничего не получается, неходовой товар. Но представь себе, что вдруг твои книжки начнут хорошо раскупаться. Один купит, другой, смотришь – всю торбу распродал. Уверю тебя: недели не пройдёт, как появятся конкуренты. И не печатным материалом начнут торговать, а вот именно таким, как у тебя, самодельным. Твои же книги будут продавать, да ещё выдавать за свои. Книжная торговля, вообще говоря, на Горьковской дороге не новость. Да и на Октябрьской вроде бы кто-то уже промышляет... Но товар надо уметь раскрутить. Как говорится, сесть на позицию».

Помолчали, после чего тётя Наташа похлопала писателя-коммерсанта по колену.

«Вот так, друг любезный... Ты меня понял».

## **LV Академик Курганов**

26 августа 1991

Бывший Олег Двугривенный имел в виду собрания в доме Игоря Валериановича Курганова. Ещё одному лицу давно пора появиться на этих страницах. Последний представитель некогда славной московской школы математиков, автор известных работ по аналитической теории чисел, член-корреспондент Академии наук

и почётный член иностранных академий, Герой социалистического труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий и, как говорили, без пяти минут нобелевский лауреат, – таков этот муж, *out of thy star*<sup>6</sup>, как говорит Полоний, дотянуться до него и во сне не могло бы присниться. Спасибо Олегу Михайловичу: он представил тебя великому человеку.

Вот он стоит у окна своего кабинета, обозревая с высоты десятого этажа мост и скучные дома на другом берегу. Медленно влчаться мутно-зеленоватые воды. Приходится признать, легендарный основатель нашего города выбрал место, по тем временам, может быть, и выгодное – холм над излучиной, – но для будущей столицы полумира всё же мало подходящее: слишком уж неказистая речка омывает её гранит.

Существует взгляд, по которому с возвышением Москвы, подмявшей под себя прочие княжества, история будто бы совершила промах. Ложный взгляд! Именно Москва – а не Тверь, не Ярославль, не торгашеский и поддавшийся западному влиянию Новгород – стала достойным преемником одряхлевшей Византии, именно этот выбор позволил нам стряхнуть с себя монгольское иго, расширить границы, создать могучее национальное государство.

Да и вредная идея, ибо сеет сомнение в богоизбранности России.

Эти мысли прервал колокольчик в прихожей; мрачно-гнусавым боем отозвались на явление первого гостя часы в гостиной.

Жилплощадь Игоря Валериановича отвечает его званиям и заслугам. Дом ответственных работников, квартира – просторные, старомодно-темноватые хоромы с большой и малой столовой, рабочим кабинетом, спальнями и так далее. Свой путь в науке Курганов избрал ещё школьником. Математический гений расцветает рано. Доказательство правильности гипотезы Римана о нулях дзета-функции, одной из семи проблем тысячелетия, было найдено Игорем Валериановичем в 23 года.

Дальнейшее восхождение происходило уже не столько по учёной лестнице, сколько по административной и партийной. Поездки с делегациями за границу, борьба за мир, председательствование на конференциях, сидение в президиуме торжественных заседаний образовали важнейшую часть его многогранной деятельности. На склоне лет он стал депутатом Верховного Совета и членом ЦК. Важно, однако, отметить, что Игоря Валериановича отличала широта интересов. Теперь, когда развал государства, упадок Академии (одно время дело дошло до того, что перестали вовремя выплачивать оклад) и общее гибельное направление так называемой перестройки потрясли самые основы народного и национального бытия, он обратился к отечественной истории. В смутные годы выкристаллизовалось его мировоззрение как философа и патриота, сложилось стройное учение, в котором строгость мышления, воспитанного в школе точных наук, соединилась с метафизическим взглядом, логика с интуицией, научная методология с православной верой.

Общеизвестны попытки построить единую концепцию исторического процесса. Шпенглер и Маркс равно потерпели позорный крах. Лишь Курганову удалось разгадать загадку истории, разоблачить ту скрытую демоническую силу, которая стоит за событиями, манипулирует политиками и народами. Как пример можно указать на тайные пружины Февральской революции 1917 года и последующего большевистского переворота. Установление этого факта по праву считается вторым после доказательства римановой теоремы крупнейшим достижением академика Курганова.

Изменился и круг друзей. Теперь за большим столом в гостиной, под пыльной люстрой собирались писатели, публицисты, лица духовного звания. Поздние от-

<sup>6</sup> не тебе чета («Гамлет», 2, 2).

прыски царской семьи порой украшали общество, как украшают грудь состарившейся дивы фальшивые брильянты. Здесь царило благолепие. Ощущалась особая теплота. Здесь изъяснялись на особом языке, смеси дореволюционного с просто-народным. Здесь говорили «не токмо» вместо не только, «потому как» вместо потому что, «ежели» вместо если; здесь был любим высокий штиль, употреблялись такие слова, как державность, духовность и соборность.

Два слова о домашней жизни И. В., дабы завершить это краткое введение. Быт пожилых супругов был подчинён заведённому порядку. Об изменах не могло быть и речи. Сусанна Ароновна, некогда бывшая ученицей Игоря Валериановича, настолько же невзрачная и щупленькая, суетливая и тихая, как мышка, насколько мастит, осанист, величествен, крупно-благообразен был 75-летний патриарх, принадлежала к числу тех умных женщин, которые понимают необходимость периодически, не дожидаясь, пока взорвётся котёл, выпускать пар, и прочно держала в руках контроль. Барышни, посещавшие дом, являлись по очереди, раз в неделю, ритм, признаваемый наиболее целесообразным для здоровья и с точки зрения приличий. Первая, совсем молоденькая, вертлявая и смешливая, приезжала рано утром, выпархивала из такси, вбегала в подъезд и, не здороваясь со сторожхой, исчезала в кабине лифта. Войдя в опочивальню, сбрасывала длинное пальто, под которым не было ничего, кроме узорчатых паутинных чулок с лазеревыми подвязками, отшвыривала туфельки на шпильках и, приподняв шёлковое китайское одеяло, будила спящего академика поцелуем. Некоторое время проходило в играх, в более или менее успешных объятьях, после чего Игорь Валерианович вновь дремал, эфирная гостья скучала, мечтала, глядя в потолок; пробуждаясь, он нежно целовал её на прощанье, иногда отечески журил: «Небось, к Кубышкину тоже ходишь». – «Папочка, ты у меня один». – «А вот мне Фёкла Даниловна докладывала». (Та самая сторожиха-консьержка). – «Да врёт она!» – «А вот давеча тебя видели». – «Да ведь он еле ползает, куда ему...» – «Козёл вонючий, сколько он тебе платит?» Девушка хныкала, клялась в верности и теребила золотой крестик между миниатюрных грудей. «Больше не будешь? – притворно-грозно спрашивал академик. – А то разлюблю».

Нельзя думать, будто финансируемая любовь исключает человеческую сторону отношений. Вторая посетительница была женщина зрелой комплекции, с круглым мягким лицом и вся мягкая, не жадная до денег, чем выгодно отличалась от феи в пальто, добрая, сострадательная, умевшая по-матерински приласкать и обогреть у большой груди, расчесать бороду, уложить седые кудри, исцелить душевные раны (у кого их нет?). Приходила по вечерам и, когда хозяин засыпал, пила чай на кухне с хозяйкой.

## LVI Пир витязей в шатре над речной излучиной

26 августа

«Благослови, Господи, сей дом, и хозяев его, и трапезу».

Окончен краткий спич духовного лица, взметнулся, помавая семо и овамо, просторный рукав чёрной шёлковой рясы.

Пауза.

«Ну-с, государи мои... – промолвил Игорь Валерианович, и общество, оторвавшись от созерцания пиршественного стола, обратило взоры к хозяину, – кх-гхм! Не будем омрачать этот маленький праздник последними новостями, вы, наверное, уже прочли речь этого, как его, так называемого президента... ужас, ужас, ничего другого не скажешь...»

Он вздохнул, и все вздохнули.

«Позвольте мне поднять этот бокал за...»

Все схватились за рюмки. Так некогда на крутом берегу Днепра княжеская дружина вздымала кубки с пенным напитком и дружно чокалась.

«Ах, хороша!»

«Отлично пошла!»

«За вас, за вас, Игорь Валерьяныч! И где это вы такую достаёте, поделитесь секретом!»

«Как там сказано, отец Савватий? Его же и монаси приемлют».

«Так точно-с». Тотчас налили по второй. Вилки пирующих тянулись к селёдочке, к свежему хлебу, к грибок, ножи зюлингенской стали смело нарушили девственность ароматного сливочного масла. Ложечками из ваз загребалась икра, из овальных судков щедро накладывались на тарелки паштеты и винегреты.

«Позвольте огласить, – хозяин постучал вилкой о бокал, – повестку дня. Хотелось бы – как и обещал – ознакомить вас с новой моей работой, некоторыми новыми мыслями... буду весьма признателен за деловую критику. Это первое. Во-вторых, высокочтимый Олег Михайлович (кивок в сторону принаряженного Олега Двугривенного) доложит о проекте журнала. Дело, как вы понимаете, чрезвычайно ответственное. Думается, – здесь академик Курганов употребил привычный партийный оборот, – думается, что назрела необходимость».

«Мы обязаны дать отпор», – вставил Олег Двугривенный.

Игорь Валерианович несколько начальственно покосился на критика, помолчал, провёл холёной рукой по голубым усам и погладил раздвоенную бороду.

«М-да. Вот именно... Но прежде отдадим должное благам земным. Впрочем, прошу не слишком налегать на закуски, предстоит нечто более существенное...»

В эту минуту в углу из стоячего дубового гроба вновь пробили часы. Хозяйка дома выглянула из дверей. Немного погодя, ведомый Сусанной Ароновной, в сопровождении двух помощниц в кружевных наколках и передничках, въехал на колёсиках столик с большой эмалированной кастрюлей. И когда под изумлённый ропот публики была поднята крышка, густой пар, дивный дух шибанул, разнёсся по всему чертогу – это были пельмени, они самые, из тончайшего теста, сваренные в бульоне из костей, с начинкой из нескольких мяс, при этом лук и чеснок для фарша обязательно рубится ножом, никаких мясорубок! Хо-хо!

«Хе-хе...»

«Ничего себе, скажу вам...»

Сусанна Ароновна, в хлопотах вокруг стола:

«Вот сметана, вот уксус, перчик... маринованные грибочки. Масло, кто желает».

«Мать честная... а это что?»

«Толчёный орех с баклажанами, в лимонном соусе, прошу...»

«О! а там что? – Бархатный баритон: – Господа, позвольте выпить».

Игорь Валерианович, с кубком в руке, со слезами на глазах, воздвигся над пиршественным столом.

«Ваше императорское высочество, высокочтимый отец Савватий, дорогие друзья... Извините, не могу более сдерживать свои чувства... Не могу выразить, до чего я тронут. До чего счастлив встретить скромный мой юбилей посреди стольких милых мне лиц!»

Шум поздравлений перекрыл его спич. Встали с мест. Кто-то приблизился особенно чокнуться и облобызать именинника.

«Право, не ждал, что мне, в мои преклонные годы придётся пережить то, что все мы сейчас переживаем. В самые страшные, в самые опасные моменты нашей истории, которая совершалась на наших глазах, в годину войны, не было такого мрака, такого, я бы сказал, позора!..»

Старик опустил кудлатую голову и, казалось, раздумал пить.

«Господа, – кто-то робко подал голос. – Да что же это такое – пельмени остывают!»

«Но дайте же договорить Игорю Валерьянычу! Игорь Валерьяныч, просим».

«Совершенно справедливо, – горько усмехнулся хозяин, – остывают, чтоб им ни дна ни покрышки! Выпьем, друзья мои, за то, чтобы весь этот морок, вся эта чёрная туча над небом отечества рассеялась...»

Звон бокалов, стук вилок покрыли его слова. Рассеялось впечатление от горестного тоста. Отчество академика приняло удобопроизносимый вид.

«Мастерица, надо сказать, ваша супруга, Игорь Вальян-ч... Отродясь не вкушал...»

«Истинная правда, Олег Михал-ч. Совершенно с вами согласен».

«А как насчёт того-этого?..»

«Юные пионеры, будьте готовы».

«Всегда готовы! Ах, хороша!»

«Где там у нас грибочки... Подать их сюда! Нет, до чего дело дошло, а? Намедни открываю “Литературную газету” и читаю...»

«А кто автор? Ну, ясное дело».

«Козёл вонючий...»

«Ничего не поделаешь, я вчера получил гороскоп, вы, прошу прощения, имете представление о звездословии?»

«Чего? Понятия не имею».

«Печальная, надо сказать, картина. Аспект планет сугубо неблагоприятен. Юпитер... известно вам, какую роль играет Юпитер?»

«Понятия не имею. Патиссончики ничего...»

«Покровительствует нашему отечеству, к вашему сведению. Так вот, представьте, повреждён соседством Сатурна».

«Это как же понимать?»

«А вот так и понимайте».

«Бредни всё это...»

«Не-ет-с. Не совсем. Нет, он всё-таки прав. Необходимо сплотить все патриотические силы. Дать отпор».

«Эх... семь бед, один ответ. Положите-ка мне ещё...»

«Битте-дритте!»

«Как живёте-можете, ваше императорское высочество?»

«Вашиими молитвами... вашими молитвами».

«Если я правильно вижу сложившееся положение... шансы на восстановление законной монархии...»

«Возможно. Возможно».

«Да ведь в том-то и заковыка, кого считать законным».

«Великая княгиня Леонида...»

«Да какая она великая княгиня...»

«Из грузинского царского рода».

«Да какой там царский. Седьмая вода на киселе».

«Ну, не скажите».

«У них там все князья. Если уж говорить, нам нужен наш, русский монарх».

«Где ж его возьмёшь? Коли вся династия перебита».

«Паштет, скажу я вам, что надо!»

«Ожидается высочайший визит».

«Это кто ж такой?»

«Государь-наследник цесаревич и великий князь Георгий Михайлович, к нам, в Россию...»

«Откуда?»

«Хрен его знает...»

«Я попросил бы всё-таки не выражаться. Всё-таки, знаете...»

«Да, но как быть с дворянством».

«С каким это дворянством, никакого дворянства больше нет».

«Как это нет».

«А вот так. Дворянство везде исчезло или исчезает. Только в других странах оно оставило наследника, а у нас...»

«Вы что же, считаете, что русский народ брошен, так сказать, на произвол судьбы?»

«Да-с, считаю».

«Это что ж такое, а? Братцы! Жомини да Жомини, а об водке ни полслова!»

Глохнут, сливаются в общий гул голоса, алеют потные лица, пир вступил в заключительную фазу.

«Между прочим, совершенно неопровержимые данные. Игорь Вальян-ч, вы слышали? Ельцин-то, оказывается, еврей! – На одну четверть, это известно. – Не на одну, а на три! – Ну и что? – Как это, ну и что. – Бредни всё это. – Ну, не скажи. – Братцы! Жомини да Жомини... – Вася! Я ведь её любил. А она... – Отец Кирилл, позвольте с вами чокнуться, так сказать, индивидуально... – Вот вы говорите, дворянство... – Слушай-ка, а кто это там, никак Двугривенный? – Да ведь ты с ним уже здоровался. – Что-то не припомню... – Трёхкопеечный. – Вот сука, и он здесь. – Повреждён Сатурном... – Нет, до чего дело дошло... – Господа! (Стук вилкой о стакан). Господа, Игорь Валерианович просит всех в кабинет».

## LVII Русская рапсодия

26 августа, на закате солнца

Окончен пир, затихли песни, обессиленная дружина лежит вокруг шатра на зелёном взгорье. Сколько-то времени ушло на рассаживание, преодоление послеобеденной сонливости, размешивание сахара в чашечках чёрного, как совесть злодея, кофе. Наступило молчание. Воцарился тот особый, пепельно-мглистый предгрозово сумрак, за которым должен последовать громовой разряд.

Слышался шелест бумаги, лёгкий удар стопкой страниц о письменный стол. Щёлкнул выключатель настольной лампы. Полоска света пробилась из-под двери. И голос мужа из кабинета достиг чуткого уха Сусанны Ароновны.

*В данной работе...*

Теперь вся она превратилась в слух.

*...проанализированы с православных позиций ход и направление истории России в XX веке перед лицом надвигающегося нового мирового порядка. Позволим себе утверждать, что этот новый порядок однозначно расшифровывается как грядущее царство Антихриста.*

Слышалось:

*Силы, стоящие за ним, рассматривают Россию как главное препятствие для осуществления своих целей. Ибо они понимают, что только Россия...*

Доносилось:

*Русский патриотизм есть великий мистический, метафизический, геополитический, исторический, державный и эсхатологический Проект, доверенный избранному народу великороссов... Русский патриотизм напрямую связан с таинством пространства как отражения вечности в имманентном мире...*

Робкие хлопки на миг прервали чтение. Тишина, и снова:

*Русский язык является языком потустороннего, он непереволим на другие языки. На русский язык можно сделать только плохие переводы с других языков, ибо мелочность содержания других языков...*

Шелестит переворачиваемая страница.

*Наше национальное положение в сегодняшнем мире требует от нас соборного обновления Русской Доктрины. Нас, русских, хотят загнать в угол, пользуясь нашей незлобностью, нашей сосредоточенностью на духовном...*

Слышалось:

*Осознание причин и смысла нашей нынешней национальной катастрофы, установление конкретных носителей исторической вины...*

Кто-то всхлипнул. Смущённое сморкание. Мгновение тишины. Мягкий академический баритон, натренированный в выступлениях, так хорошо идущий (подумала Сусанна Ароновна) к голубовато-седым кудрям и усам Игоря Валериановича:

*Целый ряд исторических фактов... Как подчёркивает наш современник, выдающийся русский историк Михаил Назаров... Нас, совопросников мира сего, обвиняют в клевете. Хочется спросить: на кого? Не может быть клеветой то, что является правдой... Сражение с чёрными силами... Царство Антихриста...*

Голос окреп, посуровел.

*Необходимость выработки ответственного, национального отношения к феномену еврейства...*

*Проблематика крови...*

*Еврейско-большевицкий переворот 1917 года как предпосылка красного террора и голодоморов и безуспешность попыток ассимилировать евреев, этот как исторически, так и биологически абсолютно чужеродный паразитический элемент.*

Часы из гроба:

«Дон!.. Бом!..»

Слушательница нехотя поднялась со стула. Привычное восхищение мужем, его умом и эрудицией подхватило её, как на крыльях. Не так уж важно было, о чём вещал Игорь Валерианович: голос мужа погрузил Сусанну Ароновну в эротический экстаз. Домашние заботы призывали. Как вдруг приоткрылась дверь кабинета.

Некто с тоскливо-страдальческой миной вышел, извините, пробормотал он, где у вас?.. Сусанна Ароновна гневно взглянула на покинувшего собрание, молча, презрительно показала пальцем, куда идти. Несчастный писатель едва сумел добрести до заветной дверцы, еле успел дрожащей рукой задвинуть дверную задвижку, расцепить и спустить штаны. Кафельные стены уборной потряс взрыв. Это был рецидив старинного недуга. Режущая боль в животе вновь вынудила страдальца покинуть нары. Он заковылял в тамбур, в умывальню между двумя барачными секциями, к помосту с круглыми дырами. *И пайка, и место на нарах, и в хладном сортире очко*, – как сказал псалмопевец, лагерный рапсод. Никуда они не делись – ждут тебя.

Не пропал в тумане времён дом бабуши Швабры Анисимовны, сто первый километр, там тоже всё скучает по тебе. Долой хронологию – калейдоскоп поворачивается как вздумается, так и сяк. Писатель выбрался из своей комнатки со щелястым полом, вышел в огород. В сумерках зашлёпал к дощатому домику-скворешнику, корчась от спазмов, усёлся там на корточках, орлом, как это называется.

## **LVIII Интервью. Последнее приключение автора «Вчерашней вечности»**

1992, точная дата отсутствует.

Около этого времени происходит нечто невероятное, чудо телефонии: неожиданный звонок повергает в тревогу соседей и приводит в боевую готовность никогда не дремлющий инстинкт бдительности.

А впрочем, ничего особенного – звонит телефон в коридоре; но звонок необыкновенный – громкий и продолжительный. Подошёл кто-то из жильцов. Через минуту снова звонок, голос телефонистки.

Сосед постучался: «Тебя, что ли».

Писатель взял трубку.

Таинственный дальний голос на неведомом наречии, словно звонят с Сатурна. «Excusez-moi de vous déranger, j'aimerais parler à M...»<sup>7</sup>

Это был женский голос.

«Je vous écoute. – Там продолжали говорить. – Un instant, s'il vous plaît»<sup>8</sup>, – сказал писатель, поглядывая на соседа, который уже опаздывал на работу, но всё ещё торчал в дверях своей комнаты. Писатель попросил перезвонить через полчаса.

Сосед: «Кто это тебе звонил?»

«Понятия не имею».

«Небось знаешь, коли ответил».

Когда ровно через полчаса снова раздался звонок, приоткрылась другая дверь – бывшая жилплощадь Анны Яковлевны и сгнувшей бесследно Валентины, – и высунулась кривая физиономия. Теперь прислушивалась вся квартира. Ожила мифология призрачных спецслужб. Писатель отвечал на загадочном языке, и это мог быть только язык врага. Разговор был недолгим.

Неизвестно, сколько времени протекло, прежде чем, поднявшись с раскладушки, на которой он проводил теперь почти весь день, автор этой хроники привёл себя в относительный порядок. Он вышел из дома. География города меняется по мере того, как мы стареем: некогда просторный мир детства сжался, как шагреновая кожа. Не стало железных ворот, запиравшихся на ночь, и можно было видеть мимоходом, что двор как-то странно сморщился. Переулок стал короче и грязней. Привычным путём из Большого Козловского он свернул в Большой Харитоньевский к Чистым прудам. Бывший бульвар являл хватяющее за сердце зрелище запустения. Вокруг остатков детской песочницы на поломанных скамьях разместилась община пожилых алкоголиков и бомжей. Не доходя до Покровских ворот, спиной к дому с барельефами сказочных зверей, – писателю чудилось, вот-вот покажется рядом с подъездом вывеска доктора Кацеленбогена, – на скамейке сидела женщина лет тридцати, темноглазая и темноволосая, неброско одетая. Он приблизился. Дама проворковала:

«C'est moi. Vous êtes surpris?»<sup>9</sup>

В руках у неё книжка в белом бумажном переплёте, опознавательный знак. Решив уделить этой встрече отдельную главу, сочинитель поймал себя на мысли, что и он, вслед за жильцами-соседями, всегда готовыми наступать, попался в сети государственной бдительности. Провокация, пронеслось в голове, *они* её подослали. Ничего не знаю. Уйти в глухую несознанку. Понятия не имею, чего эта иностранка от меня хочет, кто она такая. Он посмотрел направо, посмотрел налево.

«Спрячьте», – быстро сказал он.

«Боже мой, эти времена прошли! Неужели вы думаете, что я решилась бы...»

«Прошли? – спросил он. – Может быть».

«В чём же дело, почему вы так испугались?»

«Рефлекс».

Поколебавшись, он сел рядом.

«Вы читаете по-русски?»

<sup>7</sup> Простите, можно поговорить с г-ном...? (фр.).

<sup>8</sup> Я вас слушаю. – Одну минуту (фр.).

<sup>9</sup> Это я. Вы удивлены? (фр.).

«К великому сожалению, нет. Взяла с собой на всякий случай. – Она улыбнулась. – Как доказательство».

«Дела давно минувших дней, – заметил писатель. – Всё это уже устарело».

«Настоящая литература не устаревает».

«Спасибо. Вы в этом уверены?»

«В том, что ваша проза не устарела?»

«Нет. В том, что это настоящая литература».

Дама снова улыбнулась прелестной улыбкой.

«Вы, однако, порядочная кокетка. Пожалуй, я должна сделать вам ещё один комплимент. Откуда у вас такой прекрасный...? Вы не пробовали писать по-французски?»

Продолжая говорить, она отщёлкнула сумочку, протянула визитную карточку, мы, сказала она, предполагаем начать новую серию. Что-то вроде библиотеки новейшей русской литературы».

«Вот как. Кто это – мы?». Он разглядывал карточку, название издательства ничего ему не говорило.

«Если вы, конечно, не возражаете».

«Мадам Роллан...» – проговорил писатель.

«Можно просто Жюли. А вас – можно мне называть вас по имени? По секрету скажу вам, что я уже подыскала переводчика».

«Я там кое-что переделал. По сравнению с этим. – Он кивнул на её сумочку, где лежала заграничная книжка в белом переплёте. – Написал кое-что заново...»

«Мы это обсудим. Хотя должна заметить, что времени осталось немного. Роман должен выйти не позднее начала марта... Вы имеете представление о парижском Salon du livre?»<sup>10</sup>

«Ни малейшего».

«О, тем лучше! Вас ждёт много интересного».

«Меня?»

«Мы хотели бы вас пригласить».

«Пригласить, куда?» Писатель воззрился на даму.

Она возразила:

«Я понимаю, вы стеснены в средствах... Финансовую сторону вашего визита издательство, естественно, берёт на себя».

Поразительно. Они никогда это не поймут, думал он. Что значит жить всю жизнь в наглухо законопаченной стране. Это было всё равно как если бы он получил приглашение с другой планеты.

«У вас не будет никаких забот».

«Не в этом дело», – сказал он.

«А в чём же?»

Вот дура. Не могу же я объяснять, что все разговоры прослушиваются.

Некто приближается издали.

«Вот видите, – сказал писатель, показывая глазами на нищего. – Помолчим немного. Un homme averti en vaut deux»<sup>11</sup>.

Человек в лохмотьях, бормоча, протянул руку. Мадам Роллан поспешно рылась в сумочке. Писатель сказал:

«Вали отсюда».

Собиратель удаляется в сторону Покровки.

«Почему вы так резко обошлись с ним? И что вы хотели этим сказать – un homme averti? Он показался вам подозрительным?»

«На водку собирает. Это в лучшем случае».

---

<sup>10</sup> Ежегодная весенняя книжная ярмарка.

<sup>11</sup> Бережёного Бог бережёт (фр.).

«А в худшем?»

«Жюли, – сказал писатель, – я отравленный человек».

«Да, но ситуация в России изменилась!»

«Возможно. Но я уже сказал вам: я отравленный человек. – Он прищурился. – Принохайтесь. Разве вы не чувствуете?»

«Вы хотите сказать, в Москве плохой воздух? Уверю вас, в Париже не чище...»

«В Москве всегда был плохой воздух. Я не об этом. Испарения лагерей. Вся Россия отравлена. – Она не знала, что ответить, он продолжал: – А что касается вашего предложения, спасибо, конечно...»

«Вы бывали в Париже?»

«Нет, разумеется. Меня туда не пустят».

Она спросила, почему.

«Я не член Союза. Следовательно, не писатель. Кроме того, как вы знаете, за мной всюду идёт моё дело».

«Но, если я не ошибаюсь...»

«Удивляюсь вашей осведомлённости. Формально я реабилитирован. Это ничего не значит. Мне не дадут визу».

«Издательство вышлет вам официальное приглашение».

«Не поможет».

«Откуда вы знаете?»

«Откуда... Я живу в этой стране, вот откуда».

Эх, не надо было так говорить. Вообще не надо было об этом. Ну, всё равно, семь бед – один ответ.

«Я всё-таки не понимаю... – пробормотала она. – Хорошо, отложим эту тему. Я бы хотела взять у вас интервью».

«Интервью, о чём?»

«О вас, о вашем романе. Немного поговорить с вами».

«Прямо здесь?»

«Нет, здесь шумно. К тому же я не взяла с собой аппарат. Не согласитесь ли вы поехать со мной в гостиницу...»

«Не о чем разговаривать».

«А всё-таки».

«Послушайте, – сказал писатель. – За мной следят».

«Дорогой мой, это уже становится смешно. Кто это за вами следит – посмотрите вокруг. Здесь никого нет! Или вы думаете, что вас окружают невидимки?»

«Да, думаю. Один сидит рядом с нами. А другой прогуливается по дорожке. Слышите, как хрустит песок?»

«Замечательно. Превосходный сюжет. Напишите об этом рассказ... Как вы думаете, – спросила она, поднимаясь, – где-нибудь поблизости найдётся стоянка такси?»

### **LIX Интервью, окончание**

Тот же день

Войдя в номер, писатель хлопнул в ладоши. Должен быть отзвук, объяснил он. Жюли, в коротком светло-коричневом платье с пояском, опустилась перед шкафчиком, который в гостиницах называется баром. Её колени блестели, обтянутые шёлком. Какой отзвук, спросила она.

«Если слышится эхо, значит, комната прослушивается. Вон там, – он показал вверх, – должен быть микрофон».

«Я вижу, вы опытный конспиратор. Ну и как?»

Вздыхнув, она подняла на гостя тёмно-блестящий взгляд. Писатель криво усмехнулся, пожал плечами.

«Вроде нет», – и в его голосе звучало почти разочарование.

Жюли выставила бутылку, за ней ещё одну поменьше, явились миксер, лёд в металлическом лотке и два высоких стакана. Устроились на диване перед столиком с магнитофоном. Оба сделали по глотку, она взглянула вопросительно на гостя. Подходяще, промолвил писатель.

«Вы готовы?»

Она прочистила голос. Ей показалось, что аппарат не в порядке, она остановила крутящиеся бобины, нажала на другую клавишу, катушки послушно завертелись в обратную сторону. Остановила, снова включила, поднесла к устам микрофон.

«Для начала я хотела бы задать такой вопрос. О чём, собственно...»

Молчание, крутятся катушки. Ясный день за окнами. Конец века.

Её палец с длинным розовым ногтем нажимает на стоп. Мсье такой-то. Я, кажется, вас о чём-то спросила, сказала она вкрадчиво.

Писатель держит в руках чашечку микрофона, как Гамлет – череп шута.

«О чём этот роман? – переспросил он сдавленным, не своим каким-то голосом. Что ей ответить? – Не знаю. Может быть, о преодолении хаоса».

Нет, возразила мадам Роллан, и катушки остановились, говорите естественней, расслабьтесь; ближе ко рту; пожалуйста; ещё раз.

«Тема моей книги – преодоление хаоса».

Вот это другое дело.

«Что вы подразумеваете под хаосом? Вашу собственную жизнь?»

«Отчасти, да».

«Значит, это автобиография».

«Нет. Условие писательства – самоотчуждение».

«Что это значит?»

«Это значит, что надо стать чужим себе самому. Использовать свою жизнь как материал. Не больше, чем материал, с которым можно работать».

«Вы говорите о хаосе».

«Да. Жизнь – это хаос случайностей. Нужно отыскать в нём какой-то смысл».

«Но вы как будто в этом сомневаетесь...»

«Очень может быть, что это иллюзия».

«Вы говорите – преодолеть хаос».

«Существует очарование беспорядка. Соблазн хаоса. Хаос тянет в него погрузиться. Освобождает от дисциплины и традиции, поощряет своеволие...»

Писатель потянулся к стакану, к остаткам мужества.

«Понимаете, – сказал он, – надо сопротивляться».

«Сопротивляться – чему?»

«Всему. Всему этому гнусному миру. Омерзительному веку, в котором нас угораздило родиться...»

Собеседница остановила плёнку, передохните, сказала она, у вас такой вид, словно вас ведут на казнь... Разве вам неприятно, что о вас узнают во Франции? Зачем мне всё это, хотел он возразить.

Отлично, продолжим. Она нажала на клавишу.

«Вы – бывший узник Гулага».

Он поморщился.

«Кажется, вам не очень приятно говорить об этом?»

«Узник... слишком громкие слова. Да и название неверное. Гулаг – это ведь всего лишь контора. Главное управление лагерей».

«Вам не кажется, что в вашем романе слишком уж большое внимание уделено концлагерям?»

«Может быть. Но Россия этого века немыслима без лагерей. Вся страна была покрыта лагерями. Даром это не проходит. Мы по-прежнему живём в лагерном мире. Мы усвоили психологию лагеря. Она стала общенародной психологией. Лагерный образ жизни впечатался в русский национальный характер».

Нет, пожалуй, он слишком уж разговорился.

«Я вас слушаю», – её голос напомнил о себе.

«Я не касаюсь вопроса, насколько лагерь отвечал традициям государства, где классическое крепостное право было отменено каких-нибудь сто сорок лет тому назад... У Толстого говорится: солдат, раненный в деле, думает, что и вся кампания проиграна. Вы скажете, что человек, отведавший лагеря, уверен, что это и есть самое главное в жизни народа. Между прочим, в лагерях так и думали, что на воле будто бы никого уже не осталось. И всё-таки лагерь – это не aberrация, не искажение, лагерь – это ядро истории нашего века».

«Я бы хотела вернуться к роману. Если не ошибаюсь, у вас его отняли? – Писатель кивнул. – Но вы сумели его восстановить, это требует большого мужества. Внутреннего мужества».

«Ну и что».

Палец госпожи Роллан остановил магнитофон. Умоляю, простонала она, говорите громче!

Писатель отхлебнул из стакана.

«Ну и что, у меня всё равно нет читателей».

«Поверьте мне, во Франции...»

«А, бросьте...»

«При том, что роман носит несколько странный характер. Да ещё этот эпиграф из Августина... Вы, – она запнулась, – vous êtes donc catholique?»

«Bien sûr que non».

«Alors qui êtes-vous?»

«Personne».

«Que voulez-vous dire?»

«Rien. Personne c'est personne. En Russie cela arrive assez souvent qu'une personne découvre qu'elle n'est personne.<sup>12</sup> Мне кажется, – проговорил он, – по-французски всё это как-то не очень ловко выходит, но ничего не могу поделать».

«Нет, отчего же, я вас прекрасно поняла. Скажите мне это ещё раз по-русски. Или вообще что-нибудь».

«Но вы же не поймёте»

«N'importe<sup>13</sup>. Я хочу услышать, как звучит русская речь. Это очень мелодичный язык. Итак, некто оказался никем. Бедняжка! Впрочем, я должна сказать, это сейчас довольно популярный тезис. Смерть автора. Если не ошибаюсь, об этом говорил Ролан Барт... Вы хотите сказать, что вы потонули, исчезли в своей книге?..»

Пауза.

«Название. Что вы скажете о названии?»

«Толкуйте его как вам угодно».

«Я бы хотела услышать ваше объяснение».

«Память превращает вчерашний день в вечность».

«Замечательно».

«Память уничтожает время...»

«Ещё лучше. Но, кажется, вы собирались увековечить не только ваше собственное прошлое».

<sup>12</sup> Разве вы католик? – Нет, конечно. – А кто же вы? – Никто. – Как это понимать? – Как хотите. Никто – это никто. В России довольно частое явление. Когда некто оказывается никем (фр.).

<sup>13</sup> Неважно (фр.).

«Неудачное слово, всё равно что восславить. Никакого славного прошлого нет».  
«Странно. Все русские гордятся прошлым своей страны. Или, по крайней мере, не стыдятся его».

«Я не горжусь и не стыжусь».

«Но вы же только сказали: гнусное время».

«Я живу в нём».

«В прошлом, а не в настоящем?»

«В вечности».

«Громко звучит!»

«Это принудительная вечность».

«Навязанная память, хотите вы сказать?»

«Пожалуй. Во всяком случае, не память Пруста. Жюли! – сказал он и сам остановил бобины. – Жюли, чем вы меня напоили?»

«Обыкновенный виски с тоником. Вы сказали, что вам нравится...»

Она поднялась с дивана.

«Открою вам маленький секрет. Вы спросили, бывала ли я в Москве...»

«По-моему, я об этом не спрашивал...»

«В самом деле?» Она прохаживается по комнате. Магнитофон на столе не даёт признаков жизни – обиженный собеседник, которому дали понять, что он больше не участвует в разговоре.

«Мне вообще кажется... не могу точно выразиться. Все координаты как будто смещаются».

«Это ваш стиль. Вы ведь постоянно сбиваете с толку читателя. Да, мне приходилось бывать в Москве, но когда не знаешь языка... Русский очень трудный язык. К тому же я слишком тупа. Но я приехала не с пустыми руками. Переводчик подготовил rapport de lecture<sup>14</sup>. Так что кое-какое представление о книге я всё-таки получила. А теперь познакомилась и с автором. Ба! ваш бокал пуст».

Она снова сидит на корточках перед баром. Платье обтягивает её фигуру. Жюли поднимается.

«A votre santé! На-здховья! Чокнемся, по русскому обычаю».

«Будем считать, что интервью закончено?»

«По-моему, получилось неплохо. Нет, – сказала она, – не буду вам раскрывать тайну. Подождём, пока подействует...»

«Вы имеете в виду это... – он держал перед собой стакан. – Вы туда что-то добавили? Это и есть ваш секрет?»

Страшная мысль осеняет писателя, вернее, должна была осенить, всё ясно, говорил он себе, так я и знал! Попал в ловушку, дурацкое интервью, мнимое приглашение в Париж – всё подстроено. Ну-ка признавайся, чуть было не сказал он, тебя ведь подослали, ты, может быть, вовсе и не французенка!

А она бы артистически расхохоталась: кто же я, по-твоему?

Он как будто даже старался убедить себя, что поддался на провокацию. Но удивительным образом не испытывал никакого волнения.

А! не всё ли равно.

Он почувствовал желание говорить.

«Не знаю, как будет выглядеть французский перевод, в любом случае мой роман безнадежен. Он безнадежен уже потому, что противостоит нынешнему состоянию русского языка. Я, – сказал сочинитель, – верю в язык».

«Un instant<sup>15</sup>, я хочу включить...»

«Зачем? А впрочем, всё равно. Пожалуйста, если вам так хочется».

---

<sup>14</sup> краткий пересказ содержания (фр.).

<sup>15</sup> Минуточку (фр.).

Она сменила плёнку. Затеплился зелёный огонёк индикатора, вновь завертелись катушки.

«Да, я верю в язык. Моя вера простирается до уверенности, – да, я в этом убеждён! – что язык есть движущее начало истории. Судьбу нации предопределяет судьба её языка. Вы улыбаются?»

«О, я слушаю вас внимательно».

«И этот провокатор тоже». Писатель покосился на магнитофон.

«Будем считать, – сказала Жюли, – что это наш общий провокатор».

Он продолжал:

«Великие эпохи языка внушают веру в историю. И наоборот. Это не новость. Крушение Рима было следствием деградации латинского языка. Она началась задолго до нашествия варваров... Готы и вандалы застали этот язык уже тяжело больным. Упадок языка парализовал сопротивление, ничто уже не могло помочь, ни сто семьдесят легионов, ни стена вокруг Города...»

«Это ваша собственная теория?»

«Это не теория, а факт. И вот теперь Россия. Русский язык болен, уважаемая. Болезнь сопровождается приступами лихорадки, за которыми следует прострация, полный упадок сил... И это тоже началось не вчера...»

Достаточно взглянуть на засохшие извержения языка 20-х годов, на эти пятна рвоты. Прочсть речи вождей, словопрения идеологов, газетные статьи. Перед вами – клинические документы. Вы видите эти скачущие температурные кривые, эти безжалостные анализы крови. Все симптомы того, что врачи называют пиемией, гноекровием».

«О!» – сказала она.

«В чём дело?»

«Восхищена вашим красноречием».

«Если бы это было только красноречием... Вам бы наши заботы, дорогая! Следствием болезни языка была цепь катастроф, постигших нашу страну. Это процесс, против которого не попрёшь. А теперь взгляните на нынешнюю ситуацию. Впрочем, взглянуть вы не можете, вы не знаете язык. И слава Богу...»

Он умолк, хлебнул из стакана.

«Будьте добры, – прохрипел он, – вырубите эту машину...» И катушки остановились. Женщина искоса поглядывала на гостя.

«К чертям весь этот монолог. Вам всё равно придётся сокращать...»

«Вы правы, – проворковала она, – должна вам признаться: напиток не совсем обычный... Вы молчите. Вы, может быть, подумали Бог знает что... Хорошо, тогда я договарю, ведь я ещё не всё сказала...»

«Я понимаю, вы не можете доверять случайным знакомствам, – продолжала она. – Но я вас не обманываю. Больше того... В вашем романе есть главный герой, но нет – опять-таки насколько я могу судить – нет героини! Нельзя же назвать героиней эту старую дворянку...»

«Почему?»

«Должна ли я объяснять? Ваш герой любит её не той любовью, какой мужчина любит женщину. В романе нет большой любви! Да, да, – поспешно прибавила она, – вы скажете, эта крестьянка. С которой он сошёлся в лагере... Не будем спорить. Писатель! – сказала мадам Роллан. – У меня есть предложение. Пусть оно вас не смущает, в конце концов мы оба находимся под действием этого питья... Я хочу быть героиней твоей книги».

«Вы? Ты?..»

«Да, я. Ты находишь в этом предложении что-то странное?»

«Я тебя совершенно не знаю. Откуда ты, кто ты?»

Она рассмеялась.

«Тем лучше! Ты сочинишь мне биографию. Выпьем за это. За мою новую жизнь в твоём произведении. Писатель, я хочу переселиться в твою книгу».

«Ты уже переселилась», – пробормотал он.

«Милый мой, в этом и состоит творчество. Вытеснить реальную жизнь властью воображения».

Смеясь, оба опорожнили свои чаши.

«Но всё-таки. Всякое воображение имеет свои границы. Ты француженка. Ты первая живая француженка, которую я вижу в своей жизни».

«Mon Dieu, я столько слышала о том, что русская интеллигенция молится на Францию. Chacun de nous a deux patrie, la nôtre et la France<sup>16</sup>, кто это сказал?»

«Франклин, кажется».

«Я думала, кто-то из русских. Но разве вы не сказали бы то же самое о себе?»

«Дела давно минувших дней, это были другие русские... Как же я могу писать о тебе, если я о тебе ничего не знаю?»

«О, мысленно ты уже пишешь. Ты вставишь главу, где будет рассказано, как мы встретились. Как я позвонила твоему герою... О котором, между прочим, так и неизвестно до сих пор, не он ли сидит сейчас передо мной!»

Она прошла по комнате, где уже стало сумеречно.

Это был довольно просторный номер, состоявший из гостиной и спальни, с несколько вычурной мебелью, с люстрой, которую обитательница предпочла не зажигать, и трюмо в спальне.

Задумавшись, сочинитель сидел за столом перед умершим магнитофоном. Из спальни падал свет. Голос Жюли послышался оттуда.

«Вы живы?»

Он пробормотал:

«Я жив. Я всё ещё жив... Но я стар. Как-то незаметно я стал стариком».

Она что-то возразила, гость не расслышал.

«Ты хотел, – теперь её голос звучал отчётливей, должно быть, она отвернулась от зеркала, – чтобы я тебе рассказала о себе. Но ты забыл, писатель, что для того, чтобы узнать женщину, не надо её слушать. Или, слушая, делать противоположное заключение. Женщину надо видеть, потому что тело не обманывает».

Послышался шорох, стук туфель, она продолжала:

«Ты упоминаешь одну картину – там есть описание. C'est une nudité<sup>17</sup>... Как можно догадаться, весьма посредственный художник, но картина почему-то играет в жизни героя какую-то особенную роль... опиши меня, как ты описываешь действующих лиц».

«Забавная игра, – отвечал писатель, входя в спальню. – Зачем играть в литературу. Литература сама есть игра».

«Смотря как подойти к вопросу, – возразила она. – Ты готов? Где твой стилум? Где восковые таблички? Гусиное перо? Пишущая машинка?»

Она стояла спиной к писателю.

«Я вижу тебя в зеркале. Ты невысокого роста. Это оттого, что у тебя коротковатые ноги. Но это не портит твою красоту. У тебя прекрасно сформированные бёдра, плотные белые ягодички. Впрочем, я не могу описывать женщину, которая повернулся ко мне задом...»

«Старый ловелас! Начни со спины».

Писатель обнимает женщину, по-прежнему глядя в зеркало, её груди лежат, как в чашах, в его ладонях.

«Это что, часть сюжета?»

---

<sup>16</sup> Господи. (...) У каждого из нас две родины: наша собственная и Франция (фр.).

<sup>17</sup> Обнажённая натура (фр.).

**LX Ремонт отечественной истории. Не надо искать женщину – она отыщет вас**

10 июля 1997

Господа, дело идёт к концу; сколько лет вы не были в городе? Небось соскучились. Москва изменилась – это вам скажет каждый. Прямо тут же, из автомата на улице, можно позвонить за границу. В киосках продаются иностранные газеты. В книжных магазинах бывшая крамольная литература. В булочных хлеб по нормальной, выше прежнего, цене. Никаких благов, никаких дефицитов, всё всем доступно – разумеется, кроме тех, которым недоступно. Всё сыты – кроме голодных. Мирно, бок-о-бок с кремлевскими звёздами сверкают новенькие двуглавые орлы. Веют трёхцветные флаги. В подъездах не пахнет мочой.

Стало ещё тесней, ещё шумнее... да, пожалуй, и веселей! То есть не то чтобы, но всё же. Если вас не пугает давка в метро, не смущает толчея на тротуарах, не оглушает грохот транспорта, выкроите полчаса, чтобы прогуляться по городу. Поезжайте до станции с восстановленным историческим названием, поднимитесь наружу, на площадь, где ещё недавно стоял на круглом постаменте суровый муж в долгополой шинели, где доньше высится славная цитадель – с некоторых пор её украшает мемориальная доска в честь безвременно ушедшего шефа Государственной безопасности. Здание охраняется, и нет возможности забросать фекалиями эту скрижаль. Бог с ней. – Высоко над рядами мертвенно отсвечивающих окон, кабинетами владык, над стенами прогулочных дворов для заключённых на крыше, в бледно-голубом небе плещется трёхцветный стяг самодержавия, православия и народности.

Ещё немного пешочком куда глаза глядят: перед вами сквер с памятником Первопечатнику Ивану Фёдорову. Перед вами заново отделанная Иверская. Три четверти века ожидала она ремонта, подобно тому как вся наша, порядком износившаяся, отечественная история давно и настоятельно требовала капитального ремонта.

Работы, впрочем, предпринимались не раз. Но всякий раз неудачно. Только было замажут трещины, оштукатурят, покрасят так быстро, наведут марафет – опять всё валится. Будем надеяться, что теперь яркие краски нашей истории не поухнут на другой день, позолота не облупится.

Итак, стало быть, Иверские ворота... За двумя арками видна великолепная, блестящая от солнца площадь с далёким Василием Блаженным и несколько портящей перспективу глыбой гостиницы «Россия». Между арками, у подножья вновь отстроенной игрушечной церкви удобно расположился представитель вольной профессии. Он немолод, лыс, в сивой нечёсаной бороде и железных очках на носу, из которого торчат седые волоски. Ноги в портках, выдавших виды, в башмаках загодочной судьбы, лежат на земле, между ногами молчаливо взывает к милосердию древняя фетровая шляпа.

Ага! Женщины всё ещё не оставляют его вниманием. Стройная, юная, светловолосая, в платье неувовимо-нежного цвета, который, если не ошибаемся, называется палевым и который рискуют носить только такие, прекрасно сохранившиеся, дамы, простучав каблучками, совсем было скрылась в толпе, но остановилась, обернулась, приблизилась. Она стоит перед собирателем подаяний. Бывают совпадения, словно пересекаются диагонали судьбы.

Сиделец пробормотал свою формулу.

Она стоит как вкопанная.

«Чего надо?» – проскрипел он.

«Вот так встреча, – очнувшись, проговорила она. – Вот это да. Писатель!»

Увы, это был он.

«Чего? – спросил он. – Ты кто такая?»  
«Та самая! – улыбаясь, отвечала дама, опустила на корточки, платье красиво обтянуло её бёдра. – Писатель! Где мой роман?»  
Ничего не изобразилось на лице нищего, он сумрачно оглядел её:  
«Вали отсюда...»  
«Ро-о-оман, – пропела она, – вы обещали, если я буду вести себя хорошо, посвятить мне свой роман».  
Она поднялась. Насупившись, он спросил:  
«Когда это я обещал?»  
«Тогда! И, пожалуйста, не делайте вид, что вы меня забыли!»  
Она протянула руку старцу. «Сам, сам...» – бормотал писатель, встал, подтянул штаны – жест, возвращающий мужчине самоуважение. Дама отряхнула и подала шляпу.  
«Ничего не помню», – сказал он строго. Несколько времени они шагали рядом. Не помню, не знаю, повторял он мысленно, ни тебя, ни вашего городка, ни комнату с топчаном и дощатым полом, ни старуху-хозяйку, и катитесь вы все по-дальше.  
«Ты её внучка?» – спросил он.  
Вошли в сквер и уселись на скамейке перед Первопечатником.  
«Та-ак, значит... – пробормотал он. – Это самое... – И что-то ещё невнятное. – Сколько же это лет прошло... сто лет?»  
«Почти».  
«Я жил у Швабры... как её? Андреевна?»  
«Анисимовна».  
*Il en est ainsi de notre passé. C'est peine perdue que nous cherchions à l'évoquer<sup>18</sup>.*  
«Я была девочкой. Я была в тебя влюблена, писатель».  
«Этого не может быть».  
Вероятно, он имел в виду встречу. Она истолковала его слова иначе.  
«Ты просто не заметил. Мужчины невнимательны. Ты и сейчас меня не узнал... А я, между прочим, вспоминала о тебе. Писатель, я всё та же».  
«Та же. Угу. Только я не тот».  
«Ты не выполнил своё обещание. Где книга?»  
Нищий молчал, мутно поглядывал из-под косматых бровей.  
«Я жду», – сказала она холодно.  
«Чего ты ждёшь?»  
«Чего я жду... о, Господи. Вот уж никогда бы не подумала. Так опуститься... Где ты живёшь? Как ты вообще существуешь?»  
«Существую...»  
«У тебя есть какое-нибудь жильё?.. Ты пойдёшь со мной, – сказала она. – Будешь жить у меня... А эти лохмотья – вон, вон...»  
«Не смей меня оскорблять».  
«О, я бы тебе ещё и не то сказала... Писатель, где мой роман?»  
«Путаешь меня с кем-то».  
«Я? путаю?»  
«Нет его. И меня нет».  
«Это как же надо понимать?» – спросила она, нахмурившись.  
«Нет больше никаких романов! – крикнул он. – Конеч, finita... Сколько можно?»  
«Куда ты его дел. Куда ты его дел? Я спрашиваю».  
«Тебе говорят – нет. В сортир спустил... – Усмехнувшись: – Вместе с тобой».  
«Со мной?!»  
«Ну да. Ты ведь тоже была – как это называется – действующее лицо».

<sup>18</sup> Вот так же обстоит и с нашим прошлым. Пытаться воскресить его – напрасный труд. (Пруст).

Нищий взглянул на позеленевшего человека в кудрях, повязанных ремешком. Он опирается на печатную доску, в другой руке держит типографский лист. Со своего постаменты Иван Фёдоров сверлил бродягу укоряющим взором. Пора бы и его туда же. Взорвать к чертям...

«Неправда. Я не верю. Мы его разыщем. Или ты напишешь заново».

«Держи карман шире».

Помолчав, он добавил:

«Ни к чему. Не вижу необходимости. Нет смысла».

«Мы поговорим об этом после; пошли».

«Куда это?»

«Есть смысл или нет смысла, не нам судить. Поднимайся, у меня мало времени».

«Зато у меня, хе-хе, сколько угодно!»

Светило яркое летнее солнце. Шумел город, вдруг оказалось, что в Москве очень много машин. Писатель сказал:

«Мне нехорошо. Лучше проводи меня».

«Куда?» – спросила девочка. Он сидел за дощатым столом в комнатке с низким окошком, со щелястым полом, кто-то царапался в дверь, она вошла, держа в руках ломоть хлеба с повидлом. Бдительность, сказал жилец, подняв палец, бдительность прежде всего, и принялся перебирать исписанные листы. Оба стали есть и слизывать повидло с пальцев.

«У нас большая квартира, – сказала она, – мой сын предприниматель. Мы ни в чём не нуждаемся... У тебя будет своя комната. Все условия для работы... Ты всё вспомнишь, торопиться некуда. Напишешь ещё лучше, чем было. А потом мы издадим книгу за свой счёт, в самом лучшем издательстве. Писатель. Я требую. Ты обещал!»

«Там есть столовая, бесплатная... Проводи меня».

«Никаких столовых! Мы едем к нам».

«К вам. Угу. Куда же это? Девочка моя...» – проговорил он, глядя мимо бородастого Первопечатника, мимо Иверских ворот. Шум столицы, водопад времени заглупал его бормотанье.

«Девочка... Я понимаю, надо было сопротивляться... Надо было твердить своё... Как-то оправдать».

«Что оправдать?»

«Всё. Историю. Литературу. Свою собственную жизнь. Кто мы такие, зачем живём на свете. Жизнь бессмысленна. Надо внести смысл. Литература вносит смысл, так? Ничего не вышло».

«Но есть Бог», – сказал Первопечатник.

Писатель поднял голову.

«Ты так думаешь?» – спросил он.

Рядом с ним женщина, уже не казавшаяся такой моложавой, сжала виски ладонями, да, да, говорила она, есть Бог, и он всё видит и всё понимает; он и тебя ведёт, и не зря мы с тобой повстречались.

«Это судьба. Я верую, верую... Ты начнёшь всё сначала. Ты напишешь новый роман о пути к Богу...»

Писатель промолвил:

«Может, он и есть. Только не про нас».

«Что ты такое говоришь! Теперь другие времена. Это так нужно! Всем нужно! Ты современную литературу читаешь?»

«Зачем она мне...»

«Послушай... – Она встала, взглянула на ручные часики. – Мне надо торопиться. Ты тут посиди... Я скоро вернусь».

Он покачал головой.

«Можешь не возвращаться. Минутку... Что я хочу тебе сказать. Ты говоришь, другие времена. Будь на моём месте человек в десять раз талантливей, всё равно

ничего бы не получилось. Что это за времена, что это за эпоха, когда какого-то Элвиса Пресли боготворят десятки, сотни миллионов... О чём тут толковать... Пресли отменил Бетховена. Телевизор обесценил Пруста, обесценил Толстого... Прости, я заговорился... Не об этом речь. Что я хочу сказать... Мне сегодня как-то нехорошо, надо бы лечь. Я, пожалуй, пойду... Моя милая... Я счастлив, что повидал тебя, что у тебя всё в порядке... Всё в порядке...» – бормотал он, не замечая, что рядом никого уже нет.

## LXI Глас народа

10 июля

К нему подошли.

Он поднял голову.

«Отдыхаем, папаша?»

Их было трое, в кожаных куртках с металлическими застёжками.

«Ну-к, подвинься...»

Нищий молчал и не двигался.

«Подвинься, ё...ный в рот!»

Один из них плюхнулся на скамью и начал его оттеснять, так что он чуть не слетел на землю. В чём дело, спросил он, вставая. Сучий потрох, блядина, ответили ему. Доставай, что ты там насобирали.

Он взглянул на одного, взглянул на другого. Сейчас, сказал он. Прихлопнул на голове старую шляпу. Сунул руку в штаны и выхватил финку.

«Вот что, отцы... – Он стоял, расставив ноги, держа нож у живота лезвием вперёд. – Гребите отсюда. Пока хуже не будет».

Он не желал им зла.

«Эва, какой шустрый...» – они переглянулись. Один стал заходить сзади, писатель косился на него. Он рассчитывал, бросившись на главного, расчистить себе путь к отступлению. Его опередили. Оружие было выбито у него из рук молниеносным ударом ногой, другой удар сзади свалил его наземь.

Его обступили. Кованым сапогом – под ребрину.

«Канючить милостыню. На святом месте. Господа Бога гневить, Родину нашу позорить, с-сука!»

«Ребята, – бормотал нищий, – я же не знал...»

«Будешь знать! Васёк, поучи-ка его маленько».

Васёк поучил.

«Ещё раз тебя тут увижу, – зловеще сказал главный, – пеняй на себя».

И голос свыше, как эхо, прогремел:

«Пеняй на себя!»

Vox populi, vox Dei<sup>19</sup>.

## LXII Глава без названия

Ночь с 10 на 11 июля 1997

Выйдя из метро, он поплёлся по Боярскому переулку и увидел, что его ждут. Наконец-то! Оба вошли в подъезд; писатель открыл дверь своим ключом. Было уже поздно, квартира спала.

---

<sup>19</sup> Глас народа – глас Божий (лат.).

Он повалился на раскладушку. Юноша в чёрном молча сидел у его ног. Некоторое время они поглядывали друг на друга, хозяин о чём-то мечтал, потом спросил: «Может, выпьешь со мной?»

Гость покачал головой. «И тебе не советую», – сказал он.

Ещё помолчали.

«Болит?»

«Всё тело. Особенно здесь. Может, ребро сломали?»

«Я надеюсь, – сказал пришелец, – что этот прискорбный случай не был причиной твоего решения».

«Тебя всё не было».

«А что же тогда, осмелюсь спросить, тебя побуждает?..»

Писатель не удостоил гостя ответом.

*Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит.*

«Как бы то ни было, – заметил гость, – решение правильное».

Кряхтя, писатель слез со своего ложа. Налил себе водки, нацелился было на стакан гостя. Чёрный юноша накрыл свой стакан ладонью. Ну, как хочешь, пробормотал писатель. Поднял чашу с напитком жизни и смерти. Но передумал и поставил на место.

«Хочешь оставить записку?»

«Некому».

«А это?» – гость показал на бумаги, которые пришлось свалить на пол.

Писатель махнул рукой. Гость пожал плечами. Снова наступило молчание. Посетитель поднялся.

«Ты уходишь?»

«До следующего раза».

«Нет, нет, – испуганно сказал писатель, – подожди!»

«Но ты, кажется, передумал».

«Помоги мне».

«Ты победил», – сказал гость.

«Как это?» – спросил писатель.

«Ты победил, – прошептал, склонившись над ним, ангел. – Поэтому ты должен умереть...»

В старых квартирах высокие потолки. Гость стоял у стола для подстраховки. Писатель поставил на стол табуретку. Морщась от боли в боку, взобрался наверх и прилаживал верёвку к крюку для люстры родителей, которую унесли временные жильцы вместе с мебелью. Слез со стола. Они обнялись.

Гость сказал:

«Это будет длиться меньше одной секунды. А о том, что наступит дальше, ты уже не напишешь».

И он исчез.

Писатель снова вскарабкался на табуретку, надел на шею петлю и оттолкнул ногой опору. Табуретка с грохотом упала на пол, следом за ней рухнул самоубийца. Ему показалось, что он сломал второе ребро.

## ЭПИЛОГ Апофеоз и последнее бегство

Конец XX века

В те времена, если кто помнит, много говорилось о *дороге к Храму*. Под этим подразумевалось нечто метафизическое, но судьбе было угодно превратить метафору в реальность. Рассказ об открытии самого величественного сооружения наших дней был, возможно, последним произведением автора, о котором здесь так много говорилось. Собственно, оно и должно было стать заключительной

главой хроники, но включение этого фрагмента в основной корпус несостоявшегося романа может быть оспорено, по меньшей мере, по двум соображениям. Во-первых, в сохранившихся бумагах нет на этот счёт никаких указаний. Во-вторых, и это главное, выпяченный тон повествования – в своей чрезмерности, пожалуй, даже несколько оскорбительный – мало подходит для хронографа. Правда, автор не раз высказывал своё скептическое отношение к истории. В самом деле, текст (приводимый здесь с сокращениями), по первому впечатлению, представляет собой обычный для беллетристов гибрид правды, которая кажется вымыслом, и вымысла, выдаваемого за правду.

Свой рассказ автор начинает с экскурса в прошлое. С самого начала тень мрачного пророчества нависла над дворцом-собором, воздвигнутым во исполнение воли покойного императора Александра Благословенного в благодарность за избавление России от нашествия двенадцати языков. Некая монашка предсказала, что храмина простоит не дольше полувека. Так и случилось. После первого взрыва собор устоял, второй взрыв разрушил его до основания. Вместе с тем истёк и срок насланного свыше проклятья. И ныне Храм-дворец вознёсся вновь, дабы возблагодарить Всевышнего не только за победу над французами, но и за спасение от тевтонов, и от большевиков, и от язвы либерализма.

И не только о благодарности шла речь. Не все, быть может, отдавали себе отчет в смысле и назначении торжественного акта. К исходу столетия ощутилась, настоятельно дала себя знать потребность в обновлении национальной Идеи. Пришло время великого примирения с прошлым. История, этот апокалиптический зверь, была усмирена, приручена и вышагивала, словно учёный медведь, на задних лапах, с бантом на шее, под бряцанье бубна, под возгласы поводыря-дрессировщика.

Десять тысяч военнослужащих оцепили квартал. Тысяча восьмьсот сотрудников милиции заняли наблюдательные посты в подъездах, подворотнях, на балконах и чердаках близлежащих зданий. Грузовики перегородили главные улицы, до трёхсот конных милиционеров охраняли перекрёстки. Патрули народных добровольцев с нарукавными повязками прогуливались по тротуарам. Силы государственной безопасности, агенты в штатском обеспечили необходимую меру энтузиазма.

Ждали прибытия державного начальства, предстоятелей церкви, чужеземных гостей. Представители чуть ли всех государств, во фраках и цилиндрах, в африканских тогах, в арабских бурнуссах, в просторных шёлковых штанах и мантиях Дальнего Востока, в тихоокеанских колпаках и шкурах диких зверей заполнили гостевые трибуны. Вокруг теснился народ. Состоялись молебен и освящение, румяные, длиннокудрые и пышнобородые иереи в золотых фелонях и бледнолицые послушники в скуфьях и рясах обошли кругом огромный дворец, орошая стены и публику святой водой. А далее перед зрителями предстало изумительное зрелище. На площади перед порталом появились как бы из тьмы веков древнерусские ратники под предводительством вешего князя Олега, высоко поднявшего свой щит, дабы приколотить его к вратам покорённого Царьграда. Грянул гимн в исполнении сводного оркестра Министерства обороны и Государственного академического Большого театра. За русичами, соблюдая строй, промаршировала новгородская дружина, впереди под княжеским стягом, в багряном плаще и золотом остроконечном шлеме покачивался в седле святой благоверный князь Александр Невский. Следом вели на верёвке поникших, униженных тевтонских рыцарей. Зазвучала музыка композитора Прокофьева. На большом, в половину фасада, полотняном экране осветились кадры Ледового побоища из эпохального фильма режиссёра Эйзенштейна. Площадь опустела, и минуту спустя появился царь-надёжа Иван Грозный, он вёл войска на Казань (на экране – пролом в стене казанского кремля, верный Малюта Скуратов, с разверстым бородатым ртом, зовёт сподвижников на приступ). Оркестр исполнил «Как во городе было во Казани». Дружными апло-

дисментами, криками восхищения, весёлым смехом встретила публика фельдмаршала Кутузова с повязкой на глазу и согбенного Наполеона, удирающего из России под звуки разудалой «Камаринской», музыка композитора Глинки.

И так далее, и так далее.

Но вот, наконец, дошла очередь до главного номера, наступил кульминационный момент праздника, знаменующий кульминацию всей отечественной истории. Гром оваций, гудение колоколов потрясли цитадель и площадь. Огибая дворец, со стороны набережной, на высоком постаменте, под скрип задрапированных колёс, слегка покачиваясь, ехал семиметровый писанный красками Вождь – победитель Германии, в прямых несгибаемых брюках с алыми лампасами, в белом мундире с золотыми погонами генералиссимуса, в литых, слегка седеющих усах, с бриллиантовой Звездой Победы между углами затканного позументом воротника. А тем временем на экране хищно-радостный, нарумяненный и напудренный Геловани сходил с самолётного трапа в Берлине, приветствовал полки. Оркестр рявкнул: «Славься», объединённый соборный и оперный хор грянул: «Союз нерушимый республик свободных» на слова выдающегося поэта Сергея Михалкова.

Толпа растекалась по улицам и переулкам. Не стало верховой стражи на перекрёстках, милиционеры слезли с коней, с крыш и чердаков, грузовики разъехались. Торжественный декор, фанера и шёлк были припрятаны до следующего праздника. Артисты сдали в костюмерные знамёна и плащи, картонные латы, золотые остроконечные шлемы из папье-маше, древнерусские холщёвые порты, лосины времён Отечественной войны 1812 года, лапти и краснозвёздные шлемы Гражданской войны, галифе и гимнастёрки Великой Отечественной войны. Дворники сгребали окурки, жестяные банки, картонки из-под мороженого, огрызки яблок, куриные кости, скорлупу орехов, комья промасленной бумаги из-под жареных цыплят, все свидетельства нового благополучия. Водоструйные машины проехали по площади. Начался новый век.

Сочинитель выбрался из толпы. Он прошёл пешком через центр. День клонился к закату, точнее, было то неопределённое время дня, когда, если не знаешь, который час, невозможно отличить предвечерние сумерки от начинающегося рассвета. Над сумрачным, серокаменным городом простёрлось ярко-серебряное небо, темно отсвечивала слюда окон. Кое-где уже тлели и вздрагивали лиловые и малиновые газосветные вывески. Видимо, это был всё же конец дня; две ночи поднимались навстречу друг другу – одна на Западе, другая на Востоке; странник шёл и шёл, и чем дальше он углублялся в лабиринт улочек и тупиков, тем реже попадались ему встречные пешеходы. Он запомнил, какое сегодня число. И уже почти стемнело. Не уверенный, правильно ли он идёт, он дошёл до угла, свернул и доплёлся до следующего поворота и, наконец, узнал свой переулок, на каменной тумбе сидела учёная птица, повела воронёным клювом, показывая дорогу. Он шагал по Большому Козловскому, дошёл до того места, где переулок раздваивался. У подъезда, напротив бывшего чехословацкого посольства, в конусе света стоял экипаж, бородатый возница дремал на козлах. Писатель вошёл в подъезд, в темноте нашарил кнопку звонка, и шаги Анны Яковлевны зашелестели по коридору.

*FINIS*

### **2007 год, постскрипtum**

Мои друзья просили меня сопроводить только что законченную книгу кратким объяснением.

Её название больше подошло бы к мемуарам. Тем не менее (как писал вымышленный издатель «Опасных связей»), «есть основания думать, что это всего лишь роман». Однако я предвижу трудности, которые помешают воспринимать книгу как чисто романическое повествование.

Обыкновенно, когда заходит речь о прозе, спрашивают: о чём это? Ответить нетрудно: эпизоды из жизни некоего персонажа, принадлежащего к поколению сверстников автора. Жизнь эта протекает на фоне истории только что минувшего века с её главными событиями: войной, победой, лагерем, крушением режимов, полагавших себя вечными. Позади нас – век злодеяний и заблуждений, масштаб которых заставляет усомниться в том, что когда-то именовалось историческим разумом. Можно называть по-разному иррационализм истории: Промысел или Абсурд; выяснилось, что это одно и то же.

Два вождя – С. и Г. – суть две персонификации этого абсурда.

Говорить о том, что герой романа противостоит мировой бессмыслице, смешно: мутный поток истории сбивает его с ног. Он словно прыгает по камням в надежде перебраться на другой берег. Но берега нет. Человек ищет цельности и какого-то оправдания. Он жаждет восстановить целостность своей разломанной жизни и целостность калейдоскопической истории. Надеется возратить ценность своему сугубо частному существованию и найти оправдание злодейской человекоядной истории. Как? Написать роман.

Трудность чтения книги состоит в том, что это одновременно и рассказ о жизни, и рассказ о том, как сочиняется роман о жизни. Точка зрения, с которой обзревается романный мир, двоится. Субъект повествования расщеплён, он существует в разных временах и в нескольких лицах: влачит свою земную жизнь, и живёт в собственном романе, и вместе с тем размышляет, как ему написать роман.

Литература предстаёт перед ним как последняя надежда, как единственный оставшийся у него способ обрести утраченный смысл. Удастся ли? Вопрос.

Б.Х.